
Даурания Тори
Фамильяры древнего гнезда
Кн. 3

Даурания Торн
Фамильяры древнего гнезда

https://litres.ru/74925459
SelfPub; 2026

Аннотация

Двадцать лет я считал, что мне повезло: умер на станции и очнулся в теле мальчика, у которого впереди академия, зверь и целая жизнь. Оказалось, жизнь я взял в кредит.

Теперь у меня дом на скале, двести сорок человек, триста яиц, которые не вылупятся, и зверь, который умеет отдавать тепло. И ещё бумага: склад передаётся северу вместе с домом, зверем и ключом. Люди, которые её привезли, не угрожают. Они чинят пристань и ждут, потому что стоят на этой бумаге.

Я поехал на север спасать гнездо. Гнездо спасло меня. А под ним, за железной дверью, спит то, что старше нас всех: зверь размером с гору, которого двадцать один год держала на себе одна старуха. Ему нужен не поводок. Ему нужен второй.

По моему следу идёт человек с папкой, который за двадцать лет ни разу не ошибся.

«Ключ да не будет един», — написано на стене. Я принял это за подсказку. Это было предупреждение.

Дорогие читатели, поддержите автора отзывами и донатами. Каждый ваш отклик даёт автору желание двигаться дальше.

Даурания Торн
Фамильяры
древнего гнезда

Даурания Торн, Фамильяры древнего гнезда, кн. 3
Книга третья. Глава 1. Отряд

Хороним Орна на рассвете, за амбаром, на берегу, где земля мягче.

Утро серое, и туман лежит на воде так плотно, что третьего моста не видно, только слышно, как под ним ворчит течение. Пахнет илом и мокрой вербой, и ещё тиной, которую кто-то вытащил на доски и бросил. Я стою без шапки, и уши мёрзнут, и мне почему-то кажется, что снять шапку важно, хотя Орн надо мной бы посмеялся. Он бы сказал: «Ты стоишь, как на смотринах, а земля ждёт».

Земля и правда ждёт. Она чёрная, тяжёлая, и в ней видны корни.

Могилу копают Грив и Керн. Я пробую помочь, и Грив отбирает у меня лопату.

— Ты держи вон ту сторону, — говорит Грив.

— Я могу копать, — говорю я.

— Можешь, — говорит Грив. — Только ты копаешь, как человек, который читал про это книгу.

Он копает дальше. Земля идёт легко, потому что у реки её

не сушило всё лето, и на лопате она блестит, как сало. Грив копает ровно, глубоко и молча, и по тому, как он молчит, я понимаю, что он делал это раньше. Много раз. И что я об этом ничего не знаю.

Я держусь за край носилок и смотрю, как он работает. Мне двадцать лет, и я мастер-сторож склада четыре, и у меня в подвале триста яиц, и я не знаю, как держать лопату. Орн знал бы. Орн знал всё про землю: сколько копать, где вода, куда ставить камень, чтобы его не повело. Он бы сказал: «Не держи так, ты не дрова несёшь».

Я не знаю, что он сказал бы. Он умер, и теперь я придумываю за него.

Мне хочется сказать ему что-нибудь злое. Не потому, что он виноват. Просто руки у меня пустые, и это самое плохое, что бывает на похоронах: ты уже не можешь ничего сделать для человека, а делать что-то надо.

Мы поставили Орна в дальнем конце склада, у стены, и накрыли чистой тканью. Ткань я взял из ящика с пломбой, где лежали одеяла для яиц. Хорн сказал, что это нецелевое использование, и я сказал, что впишу ему в смету. Хорн подумал и сказал: «Тогда ладно».

С тех пор прошло два дня, и я всё ещё не могу пройти мимо того угла, чтобы не посмотреть. Я смотрю и жду, что ткань шевельнётся. Она не шевелится.

Лира держит палку.

Она держит её с самого утра, обеими руками, как держат

чужую вещь, которую нельзя ставить на землю. У неё за эти два дня лицо стало взрослее, и мне от этого нехорошо.

— Он бы её не оставил, — говорит она.

— Он бы её забыл, — говорю я. — Потом вернулся бы за ней.

— Он бы вернулся, — соглашается Лира.

Она говорит это тихо и очень уверенно, и я понимаю, что она держится за эту палку, как держатся за последнюю нитку, которая ещё связывает.

Я хочу положить руку ей на плечо и не кладу. Не потому, что нельзя. Потому что если я её трону, она заплачет, а если она заплачет, заплачу я, а у нас ещё люди на берегу и триста яиц.

Ноль лежит в двух шагах от могилы, и от него идёт тепло, и земля под ним подтаяла. Он не смотрит на нас. Он смотрит в яму, и я не знаю, понимает ли он, что там человек.

К девяти на берегу собираются люди.

Приходят рыбаки, которые таскали ящики, и женщины с рынка, и мальчишка с моста, который носит на руках зверёныша, вылупившегося на костре. Зверёныш вырос за две недели вдвое и теперь сидит у него на плече, а не на руках. Мальчишка то и дело поправляет его, чтобы тот не сполз, и от этого весь его вид делается важным.

Рыбаки встают у воды и снимают шапки, но не все сразу, а по одному, будто каждый ждёт, что сосед сделает это первым. Женщины приходят с пустыми руками, потому что

нести на похороны еду здесь не принято, и от этого им неловко, и они то поправляют платки, то трогают друг друга за локоть.

Приходит Тирк, и я вижу, что он принёс яйцо.

Он держит его под мышкой, как держат хлеб.

— Тирк, — говорю я.

— Что? — спрашивает он.

— Здесь не надо.

— Я не отдам, — говорит Тирк.

— Я не прошу отдавать, — говорю я. — Просто убери.

— А если оно холодное? — говорит Тирк. — Я его грею. Я его всё время грею.

Он говорит это не мне, а яйцу, и я вижу, что руки у него в меле и он их не отмыл, и что под глазами у него тени, и что он не спал.

Он отходит к воде и садится там с яйцом на коленях, и я вижу, как он дышит на него, как дышат на озябшие руки. И у меня в горле становится тесно, потому что он сидит на похоронах и греет яйцо, и в этом нет ничего смешного, и в этом нет ничего неправильного, и я не знаю, что с этим делать.

Я подхожу и сажусь рядом на корточки.

— Тирк.

— Оно тёплое, — говорит он. — Потрогай.

Я трогаю. Оно тёплое, и в нём что-то толкается изнутри, слабо и часто, как толкается рыба в ведре.

Приходит Хорн. Он в чёрном, и чёрное на нём не траурное, а то же, в котором он ходит в совет, и от этого кажется, что он пришёл не прощаться, а считать. Но он подходит и стоит, и я вижу, что папка у него под мышкой не раскрыта, и что он держит её так, будто она держит его. Он подходит ко мне и говорит:

— Камень, — говорит Хорн.

— Какой камень? — спрашиваю я.

— На могилу, — отвечает Хорн. — Я узнавал. Камень стоит четыре серебряных, если без надписи. С надписью шесть.

— Берите с надписью, — говорю я.

— Надпись — это ещё работа, — говорит Хорн. — Писарей у нас нет.

— Лош умеет писать, — говорю я.

Хорн оборачивается и смотрит на Лоша, который стоит у могилы и держит хлеб.

— Лош, — говорит Хорн. — Ты как пишешь?

— Крупно, — говорит Лош.

— Это хорошо, — говорит Хорн. — Крупно виднее. — Он открывает папку и что-то пишет. — «Камень с надписью». Внесу в расходы на похороны.

— Кто платит? — спрашиваю я.

— Город, — говорит Хорн. — По уставу гнезда, статья двадцать. — Он поднимает голову. — Я прочитал весь устав, пока вы спали. Там ещё написано, что гнездо имеет право на кладбище.

— Мы его уже нашли, — говорю я.

Хорн кивает и закрывает папку, и я вижу, что у него дрожат руки. Он прячет их под папку, чтобы никто не заметил. Я делаю вид, что не заметил.

Приходит Кессель. Она в сером и с папкой, и она останавливается в стороне и ждёт, пока все соберутся, и только потом подходит.

— Мастер-сторож, — говорит Кессель.

— Советница, — отвечаю я.

— Я подала в совет бумагу, — говорит она. — О том, что наставник Орн умер при исполнении.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Затем, что в бумагах должно быть записано, — говорит Кессель. — Иначе через двадцать лет никто не вспомнит, за что он умер. Будет только «старик, которого нашли на складе».

Она смотрит на могилу.

— Я не знала его, — говорит она. — Но я двадцать лет подписывала бумаги о людях, которых потом не было в бумагах. Дайте мне хотя бы одну в другую сторону.

Она говорит это ровно, как читают по бумаге, но в конце голос у неё срывается, и она замолкает и смотрит в землю.

Я стою рядом и молчу, потому что не знаю, что тут сказать. Она советница, и у неё в совете своё место, и своя папка, и двадцать лет подписей. И вот она стоит на берегу в сером и просит у мёртвого старика одну бумагу в другую сто-

рону.

Приходит мастер печатей.

Он идёт медленно, потому что у него одна рука белая и не сгибается, и он держит её в кармане. В другой руке у него клещи. Он останавливается у могилы и смотрит в неё долго, как смотрят в ящик, где не то, что ждали.

— Мы с ним были знакомы двадцать лет, — говорит он.

— Вы с ним разговаривали? — спрашиваю я.

— Нет, — говорит мастер. — Я ставил печати на его яйца, он на меня ругался, и мы оба делали вид, что нас не существует. — Он поворачивает клещи в руке. — Хороший был человек.

— Вы знали его лучше меня, — говорю я.

— Никто его не знал, — говорит мастер. — Он сторожил.

Он говорит это без горечи, как говорят о погоде, и от этого мне хочется сесть на землю.

Я смотрю на его руку. Та, что белая, лежит в кармане, и он её не вынимает, и я знаю, что она у него не гнётся с той ночи, когда он держал проход. Двадцать лет он ходит с клещами и ставит печати на чужие двери. И на дверь Орна он тоже поставил.

— А вы к нему приходили? — спрашиваю я.

— Приходил, — говорит мастер. — Раз в месяц. Ставил печать на подвал и уходил.

— И всё?

— И всё, — говорит он. — Мы пили чай. Он наливал, я

держал кружку левой рукой, потому что правая не гнётся. Так и сидели: два старика, у одного рука, у другого подвал.

Он говорит это ровно и вдруг замолкает.

— Я не знал, что он умрёт, — говорит он.

— Никто не знал, — говорю я.

— Я знал, — говорит мастер. — Ему было семьдесят два. Я знал. Я просто думал, что успею.

Керн вылезает из могилы.

Он стоит с лопатой, и на нём земля, и он смотрит на людей, которые собрались, и не сразу говорит.

— Я двадцать лет служил в надзоре, — говорит он. — Я записывал, кому что нельзя, и считал, что это и есть порядок. — Он смотрит на могилу. — Этот человек не служил. Он двенадцать лет сторожил подвал, в котором ничего не было, и умер, держа проход, за которым были дети.

Он замолкает.

Я вижу, как у него ходит кадык. Он не плачет. Он просто стоит и держит лопату так, что костяшки белеют.

— Он сказал мне две вещи, — говорит Керн. — Первое: сторож это не тот, кто сторожит, а тот, кто помнит. Второе: дальше ты.

Он снимает шапку.

— Дальше мы, — говорит он.

Он говорит это, и на берегу что-то меняется. Люди стоят и не двигаются, и я вижу, как у женщины с рынка дрожит подбородок, и как рыбак рядом с ней снимает шапку второй

раз, потому что забыл, что уже снял.

И я понимаю, что Керн сказал не речь. Он сказал то, что теперь придётся делать нам, и сказал при всех, чтобы отвертеться было нельзя.

Мы опускаем Орна в землю.

Это делают шестеро: Грив, Керн, я, Лош, Вельт и старый зверь. Старый зверь не держит верёвку: он просто лежит у края и смотрит, и от этого его веса верёвка идёт ровнее.

Орн ложится на дно легко. Он был старый и сухой, и в нём не осталось ничего тяжёлого.

Верёвка выходит из рук, и я вдруг понимаю, что это последнее, что мы для него делаем. Дальше уже ничего не будет. Дальше будет только то, что мы про него помним, а помним мы мало, и это малое теперь надо беречь, как берегут последний уголёк.

Я держу верёвку и чувствую, как она уходит из ладоней. Она холодная и шершавая, и в одном месте перетёрта, и я думаю: надо было взять другую. Потом думаю: какая разница. Потом думаю: вот и всё.

Лира кладёт палку рядом с ним.

— Он бы сказал, чтобы я её не выбрасывала, — говорит она.

— Он бы сказал, чтобы ты её кому-нибудь отдала, — говорю я.

— Я и отдаю.

Она выпрямляется и вытирает ладонью лицо, и на щеке у

неё остаётся земля.

Я беру её за руку. Она не выдёргивает. Рука у неё холодная и маленькая, и я держу её, пока Грив кидает землю, и она держится за меня так же крепко, как держалась за палку.

Потом Грив берёт лопату и кидает первую горсть.

Земля идёт глухо. Потом ещё, и ещё, и скоро звук меняется, и я понимаю, что это уже не земля.

Малыш сидит у края могилы.

Он не спускался туда и не подходил, пока не начали засыпать. А теперь он сидит на земле и смотрит вниз, и на боку у него белеет ожог от печати.

— Он тебя не знал, — говорю я.

Малыш не поворачивает головы.

— Он тебя кормил, — говорю я. — Тогда, в холоде. Он говорил, что тебя нельзя будить, потому что ты тогда не вырастешь.

Я этого не знаю. Я это придумываю сейчас, потому что мне хочется, чтобы это было правдой, и потому что мёртвым уже всё равно, а живым надо за что-то держаться.

Малыш встаёт и садится на насыпь.

Он сидит так, что его видно со всех сторон, и я понимаю: он не уходит. Он остаётся.

И от этого мне делается легче и хуже одновременно. Легче, потому что кто-то остаётся. Хуже, потому что остаётся ребёнок, а я до сих пор не знаю, чем его кормить.

Ноль встаёт, подходит и ложится рядом с ним, и от него

идёт тепло, и земля на могиле начинает сохнуть и светлеть.

Хорн смотрит на это и говорит:

— Это тоже в смету?

— Это бесплатно, — говорю я.

— Жаль, — говорит Хорн. — Бесплатное плохо считается.

Он говорит это, как всегда, и я вдруг понимаю, что он тоже не знает, куда девать руки.

Люди расходятся медленно.

Тирк всё сидит у воды с яйцом, и Мала подходит к нему и что-то говорит, и он мотает головой. Мальчишка с моста остаётся и садится рядом с малышом, и они сидят вдвоём, и зверёныш у мальчишки, и ожог у малыша, и оба смотрят на воду.

Мастер подходит ко мне последним.

— Мастер-сторож, — говорит мастер.

— Я вам уже говорил: не надо так, — говорю я.

— Надо, — отвечает он. — В бумаге это стоит так, и в бумаге это правильнее. — Он смотрит на могилу. — Я поставил на дверь печать, когда его убили. Я всегда прихожу после.

Он говорит это спокойно, и только теперь я слышу, что в этих словах: он всегда приходит после. Двадцать лет после.

Он идёт к складу и у двери оборачивается.

— Хальд, — говорит он. — А что теперь?

— Теперь? — говорю я. — Теперь у нас триста яиц и со-

рок семь домов.

— И что с ними делать? — спрашивает мастер.

— Греть, — говорю я. — Пока они не вырастут.

Он кивает и уходит.

Я остаюсь на берегу.

Не потому, что мне надо что-то досмотреть. Просто ноги не идут.

Я стою у свежей земли и думаю о том, что Орн умер, а я в это время считал яйца. Что я не был рядом. Что последнее, что он от меня слышал, было не «спасибо», а какое-то дурацкое «сейчас».

Мне хочется сказать ему это сейчас. Стоять и говорить в землю, как дурак, и чтобы он услышал.

Я не говорю.

Я стою, пока не начинают мёрзнуть ноги.

А потом поднимаю голову и вижу мост.

Солнце поднимается, и туман уходит с воды, и становится видно мост, и амбары, и на пристани у третьего моста лодку.

Она не наша.

Она стоит у причала с той стороны, где мы не держим лодок, и она новая: борта вымыты, парус убран, и в ней никого нет. На носу у неё нарисован знак: круг, черта, закорючка.

Я смотрю на этот знак и чувствую, как у меня холодеет под ложечкой. Я не знаю, где видел его раньше, но руки помнят, что видели.

Потом слышу вёсла.

Тихо. Ровно.

Много.

Так гребут не рыбаки. Рыбак гребёт коротко и с паузой, потому что он думает о сети. Эти гребут ровно, как гребут люди, которым надо прийти к определённому часу.

Я смотрю на воду. Она серая, и в ней стоят отражения свай, и от каждого удара весла отражения ломаются и сходятся снова.

Из-за третьего моста выходят лодки.

Их пять. Они идут против течения, и вёсла у них подняты невысоко, и от этого кажется, что они не плывут, а подкрадываются.

На первой, на носу, стоит человек в меховой шапке.

Он не машет. Он просто стоит и смотрит, как смотрят люди, которые знают, куда приехали.

И тут во мне что-то обрывается. Я стою на берегу, у свежей могилы, в двух шагах от человека, которого мы только что закопали, и смотрю, как ко мне едут чужие люди, и мне хочется закричать на них, чтобы они повернули обратно. Не потому, что я знаю, зачем они едут. Просто мне сегодня уже хватило.

Я иду к воде.

Грив догоняет меня и говорит:

— Хальд, — говорит Грив.

— Что? — спрашиваю я.

— Их двенадцать, — говорит он.

— Я вижу, — отвечаю я.

— И они не рыбаки, — говорит Грив.

— Вижу, — говорю я.

Лодки стукаются о причал. Доска под ними вздыхает, и вода бьётся между бортами, и от этого звука у меня во рту делается сухо.

Первым сходит человек в меховой шапке. Он немолодой, широкий, с обветренным лицом, и у него на поясе короткий нож и больше ничего. У него трещина на нижней губе и руки в старых ссадинах, и от него пахнет дымом и рыбой так, как пахнет от людей, которые неделю не сходили с лодки.

— Мастер-сторож склада четыре? — спрашивает человек в меховой шапке.

— Я, — говорю я.

— Борн, — говорит он. — Старшина северного склада.

Он не подаёт руку. Он просто стоит и ждёт, пока я его разгляжу. И я разглядываю, потому что мне нужно время, а он это понимает и не торопит.

— Вы приехали на похороны? — спрашиваю я.

— Нет, — говорит Борн. — Мы приехали раньше, чем думали. — Он смотрит на могилу. — Кто это?

— Наставник, — говорю я.

— Старый? — спрашивает Борн.

— Семьдесят два, — отвечаю я.

— Хороший возраст, — говорит Борн. — У нас до семидесяти не доживают.

Он говорит это без жалости, просто как человек, который знает счёт. И от этого мне делается хуже, чем от любой жалости.

За ним сходят остальные.

Они встают на пристани и не двигаются, и я вижу, что они не держатся за оружие. Оружия у них почти нет: ножи, у двоих короткие топоры, у одного арбалет за спиной, разобранный.

Люди на берегу замолкают.

Мала отходит от котла. Тирк прикрывает яйцо полой. Мальчишка с моста берёт зверёныша на руки и держит его так, как держат кошку, которую могут обидеть.

И я вижу, как весь мой берег делается меньше. Ещё утром это был берег, на котором хоронят старика. Теперь это берег, на котором стоят чужие.

— Мы не за яйцами, — говорит Борн.

— За чем? — спрашиваю я.

— За вами, — отвечает Борн.

Он достаёт из-за пазухи лист.

Лист сложен вчетверо, и на нём нет печати. Вместо печати в углу узел.

Не нарисованный. Настоящий: тонкая чёрная нитка, вшитая в бумагу так, что её не снять, не порвав лист.

— Это письмо, — говорит Борн.

— Я вижу, — говорю я.

— Вы не видите, — отвечает Борн. — Смотрите.

Он поворачивает лист.

Узел на свету двигается. Медленно, как двигается червяк в земле, нитка стягивается туже, и в середине узла проступает знак: круг, черта, закорючка.

У меня по спине идёт холод, ровный, как вода в проруби.

— Он живой, — говорю я.

— Он всегда живой, — говорит Борн. — Так подписываются, когда подпись не должна умереть.

Он отдаёт мне лист.

Бумага тёплая. Не как бумага, которую держали за пазухой. Как будто внутри у неё что-то шевелится.

Я читаю.

«Мастер-сторож склада четыре передаётся северу вместе с домом, зверем и ключом. Исполнение — по прибытии».

Внизу узел.

Я читаю два раза. Потом третий. Слова не меняются.

— Кто подписал? — спрашиваю я.

— Тот, кто подписывает, — говорит Борн.

— У него есть имя? — спрашиваю я.

— У него есть узел, — отвечает Борн. — Мне этого хватает.

Керн подходит и встаёт у меня за плечом. Он читает письмо через мою руку и говорит:

— Это не приказ совета, — говорит Керн.

— Это приказ канцелярии, — отвечает Борн.

— И вы его исполняете? — спрашивает Керн.

— Мы его привезли, — говорит Борн. — Это разные вещи.

Я смотрю на него.

— Вы приехали за мастером, — говорю я. — Зачем?

— У нас гнездо умирает, — говорит Борн. — Трубы остыли в трёх кварталах. Люди уходят. — Он смотрит на могилу. — Мы держали его двадцать лет и держали бы ещё, но у нас нет мастера.

— У вас есть мастер печатей, — говорю я.

— Есть, — отвечает Борн и кивает на человека, который стоит позади него. — Крес.

Человек по имени Крес не кланяется. Он худой, седой, с длинными пальцами, и на поясе у него ящик с инструментами, точно такой, как у нашего мастера, только старее. Он смотрит на меня так, как смотрят на инструмент, который ещё не знают, годится он или нет.

— Он ставит печати, — говорит Борн. — Он не слышит.

— А я слышу, — говорю я.

— Вы слышите, — говорит Борн. — И у вас зверь, который прочитал печать и остался жив.

Наш мастер выходит вперёд.

Он идёт медленно, и я вижу, что он побледнел. У него белеет рука, та, которая не сгибается, и он держит её в кармане, но другая рука у него дрожит.

Он смотрит на Креса и говорит:

— Здравствуй, Крес, — говорит мастер.

Крес смотрит на него.

— Здравствуй, — отвечает Крес. — Тебя не было двадцать лет.

— Меня не было двадцать лет, — соглашается мастер.

— Ты бросил мастерскую, — говорит Крес.

— Я не бросил. «Я остался», —говорит мастер. — Это разные вещи.

Они стоят друг напротив друга, и я вижу, что они не враги и не друзья. Они как две лопаты из одного ящика: одна осталась в сарае, другая ушла в снег.

И я вижу ещё одно: нашему мастеру больно. Он смотрит на Креса, как смотрят на человека, с которым когда-то делили хлеб, и я понимаю, что он сейчас вспоминает не ссору, а что-то другое, и это другое двадцать лет лежало у него внутри и никуда не делось.

— Мастер-сторож, — говорит Борн. — Я привёз вам бумагу. Я не буду вас забирать.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что мне нужен мастер, а не пленник, — говорит Борн. — Пленник сядет и будет ждать, когда его поведут. Мастер сам пойдёт туда, где его дом.

Кай подходит с другой стороны и говорит:

— А если он не пойдёт?

— Тогда мы останемся, — говорит Борн.

— Надолго? — спрашивает Кай.

— Насколько хватит еды, — говорит Борн. — У нас её на

месяц.

Керн делает шаг вперёд.

— Старшина, — говорит он. — Вы понимаете, что находитесь в чужом городе?

— Понимаю, — говорит Борн.

— И что здесь есть совет, надзор и триста человек, которые вчера таскали ящики?

— Понимаю, — говорит Борн. — И поэтому мы не будем ничего делать. Мы поставим шатры и будем жить.

Он оборачивается и говорит своим:

— Разгружаемся.

И они разгружаются.

Они вытаскивают из лодок мешки, доски, котёл, свёрнутые шкуры. Они несут это на берег, за амбар, туда, где суше, и начинают ставить шатры.

Не рядом со складом. Не у двери. В стороне, так, чтобы их было видно из окон и с пристани.

— Хальд, — говорит Керн.

— Вижу, — отвечаю я.

— Они не уйдут, — говорит Керн.

— Знаю, — говорю я.

— И что мы будем делать? — спрашивает Керн.

— Ничего, — отвечаю я.

Керн смотрит на меня.

— То есть? — переспрашивает он.

— То есть они стоят и ждут, — говорю я. — А мы будем

жить.

Люди на берегу понемногу расходятся.

Мала возвращается к котлу и мешает громче, чем нужно. Тирк уносит яйцо. Мальчишка с моста уходит последним, и зверёныш у него на руках смотрит назад, на чужие шатры.

Я стою на пристани и смотрю, как северяне ставят первый шатёр.

Он встаёт криво, и двое ругаются, и третий показывает, как надо, и они переделывают. Потом один из них, молодой, поднимает голову и смотрит на нас, на берег, на людей, которые расходятся, и мне кажется, что ему стыдно.

И тогда я понимаю.

Они приехали не за складом. Склад им не нужен: у них свой, и он умирает.

Они приехали не за яйцами: яиц у них хватает.

Они приехали за мной.

И самое плохое не то, что у них бумага с живым узлом.

Самое плохое то, что они не торопятся.

Они поставили шатры и сели ужинать, и кто-то из них засмеялся.

Я стою и смотрю на них, и в первый раз за месяц мне хочется, чтобы наступила зима.

Вечером мы собираемся у печи.

За день склад остывает медленно, как остывает большое тело: сначала перестаёт гудеть труба, потом делается холодно у двери, потом холод подбирается к столу. Мы садимся

ближе к огню, и я вижу, как у людей краснеют лица и как они тянут руки к железу.

Мала варит похлёбку из того, что осталось, и разливает её в кружки, и все держат кружки в руках, потому что в складе тепло, но руки всё равно холодные. Пахнет рыбой и луком, и от этого запаха у меня в животе урчит так громко, что Кай поднимает голову.

В складе темно, только у печи свет, и лица у всех красные с одной стороны и чёрные с другой, и от этого мы все похожи на людей с чужого рисунка.

— Их двенадцать, — говорит Керн. — Двое на лодках, десять на берегу.

— И один из них мастер печатей, — говорю я.

— Крес, — говорит мастер. — Хороший мастер. Ставил печати на людей, которые не хотели говорить.

Он говорит это ровно, но кружку не поднимает. Она стоит у него на коленях, и он держит её двумя руками, и я вижу, что он забыл про неё.

— Ты его знаешь? — спрашиваю я.

— Знал, — говорит мастер. — Мы учились в одной мастерской. Он остался, когда я ушёл.

— Почему он ушёл на север? — спрашиваю я.

Мастер пожимает плечами.

— Потому что там платят, — говорит он. — И потому что там никто не спрашивает, зачем.

Он говорит это так, как говорят люди, которые сами себя

в этом когда-то убедили.

Кай сидит на ящике и грызёт корку. Он грызёт её медленно, как грызут, когда не хотят есть, а хотят чем-то занять руки.

— Я не понимаю, — говорит Кай. — Они привезли бумагу, по которой ты их. И они сидят и ужинают.

— Они ждут, — говорю я.

— Чего? — спрашивает Кай.

— Что я соглашусь, — отвечаю я.

Кай перестаёт жевать.

— И ты согласишься? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я.

— Тогда чего они ждут? — спрашивает Кай.

— Того, что я передумаю, — говорю я. — Люди всегда думают, что другой передумает. Это самая распространённая ошибка.

Я говорю это уверенно, а у самого внутри сидит маленькая холодная мысль: а если я и правда передумаю? Через месяц. Когда станет холодно и яиц станет меньше, и все будут смотреть на меня и ждать, что я что-то решу. Что тогда?

Я отгоняю её. Но она не уходит далеко.

Гром сидит у стены, и камень у него на коленях, и он гладит его большим пальцем. У Грома руки всегда в пыли, и он никогда не вытирает их до конца, и от этого кажется, что он всё время что-то строит.

— Если они останутся на месяц, — говорит он, — то к

зиме нас будет двенадцать и сорок семь домов.

— И? — спрашиваю я.

— И в этих домах будут звери, — говорит Гром. — А звери едят магию. Если начнётся драка, кто-нибудь из них выйдет на улицу.

Он поднимает голову.

— Я видел, что бывает, когда зверь выходит на улицу, — говорит он. — Я не хочу увидеть это снова.

Керн кивает.

— Он прав, — говорит он. — Если мы их выгоним силой, то назавтра сюда придёт Вейлен и скажет, что мы напали на людей канцелярии. И тогда он придёт не с бумагой.

— А если мы их не выгоним? — спрашивает Лош.

— Тогда через месяц у нас будет двенадцать северян, которые живут на нашей пристани, — говорит Керн. — И неизвестно, что они будут делать.

Лош кивает и что-то пишет мелом на стене. Он пишет «12» и обводит в кружок, и я вижу, что у него дрожит рука.

Лира поднимает голову от книги.

— Они не будут ничего делать, — говорит она.

Все смотрят на неё.

— Почему? — спрашивает Керн.

— Потому что у них гнездо умирает, — говорит Лира. — Я читала. Гнездо без мастера живёт один сезон. Потом трубы остывают насовсем, и звери уходят.

Она показывает страницу.

— Здесь написано: «Гнездо, оставленное без ключа, гаснет в три луны».

— И сколько они уже без мастера? — спрашивает Керн.

— Не знаю, — говорит Лира. — Но они приехали через две недели после того, как мы получили склад. Значит, они стали собираться раньше.

В складе становится тихо.

— То есть они приехали не потому, что их прислали, — говорю я.

— Они приехали, потому что им некуда деваться, — говорит Лира.

Она говорит это и смотрит на меня, и у неё под глазами тени, и я вспоминаю, что она сегодня держала палку Орна и ни разу не заплакала.

Керн смотрит на неё.

— Это ничего не меняет, — говорит он.

— Меняет, — говорю я. — Это меняет всё.

И я сам не знаю, почему так говорю. Может потому, что мне легче думать о них как о людях, которым плохо, чем как о людях, которые приехали меня забрать. С плохими людьми проще: их можно ненавидеть. С теми, кому плохо, так нельзя.

Мастер поднимает голову.

— Хальд, — говорит мастер. — Я знаю Креса. Если он приехал с бумагой, он её не отдаст. Он будет ставить печати, пока его не остановят.

— Я знаю, — говорю я.

— И он не остановится, если ты просто скажешь «нет», — говорит мастер.

— Я знаю, — говорю я. — Поэтому мы не будем говорить «нет».

Керн смотрит на меня.

— А что мы будем говорить? — спрашивает Керн.

— Ничего, — говорю я. — Мы будем жить.

Керн долго смотрит на меня. Потом кивает, как человек, который решил подождать и посмотреть, что из этого выйдет.

— Ладно, — говорит он. — Тогда я пойду проверю караул.

Он встаёт и уходит, и я слышу, как он у двери говорит кому-то: «Спи, я сам».

Я остаюсь у печи.

Кружка у меня в руках уже пустая, и я всё равно держу её, потому что не знаю, куда девать руки.

Ночью я не сплю.

Я лежу на ящике и слушаю, как в складе дышат: люди, звери, малыш у двери в стене, Ноль у печи. У Ноля дыхание горячее и с присвистом, и я считаю его, как считают, чтобы уснуть, и не засыпаю.

За окном, на берегу, горит чужой костёр.

Костёр маленький и аккуратный, и вокруг него сидят люди, и я слышу, как кто-то из них смеётся, коротко и негром-

ко, как смеются, когда не хотят, чтобы их услышали. От этого смеха мне делается хуже, чем от молчания.

Он горит ровно и невысоко, как горят костры людей, которые умеют их разводить, и вокруг него сидят северяне, и кто-то из них говорит, а остальные слушают. До меня доходит голос, но не слова, и от этого он кажется спокойным.

Я вижу Борна. Он сидит спиной к нам и смотрит на воду.

И я думаю: если бы я был на его месте, я бы тоже сидел и смотрел на воду.

А потом думаю другое: а если он сейчас думает, то же самое про меня? Если он тоже лежит и не спит, и смотрит на чужой берег, и думает, что у него дома холодные трубы?

И мне от этого делается противно, потому что так думать нельзя. Он приехал за мной, у него бумага, а я лежу и жалею его.

Я поворачиваюсь к стене.

Засыпаю я под утро и почти сразу просыпаюсь.

Утром я выхожу на пристань и останавливаюсь.

Северяне не сидят у костра.

Они работают.

Двое чинят настил на пристани, там, где доска прогнила ещё до нас. Один таскает воду наверх, к амбару. Крес сидит на перевёрнутой лодке и что-то режет из дерева, и рядом с ним стоит ведро со смолой, и пахнет смолой так, что у меня щиплет в носу.

Утро холодное, и на досках лежит роса, и ботинки у тех,

кто работает, мокрые до щиколоток.

Крес строгает дерево, и стружка падает на воду и плывёт, пока её не уносит течением.

Люди с рынка ходят мимо и смотрят на них, и никто ничего не говорит.

Я подхожу к Борну.

— Что это? — спрашиваю я.

— Настил, — говорит Борн. — У вас тут доска сгнила. Кто-нибудь провалится.

— Я не про настил, — говорю я.

— А про что? — спрашивает Борн.

— Про всё это, — говорю я. — Вы привезли бумагу. Вы поставили шатры. А теперь вы чините мне пристань.

Борн выпрямляется и вытирает руки о штаны. Руки у него мокрые и красные от холода, и он не старается их спрятать.

— Мастер-сторож, — говорит Борн. — Вы думаете, мы приехали воевать?

— Я думаю, вы приехали забрать, — говорю я.

— Забрать, — соглашается Борн. — Но не воевать. Если мы будем воевать, нам не отдадут мастера. А если мы будем жить рядом и помогать, может, вы сами посмотрите, как мы живём, и решите, что ваш дом здесь, а наш там, и что вам есть куда поехать.

Он смотрит на меня.

— Мы не осаждаем, мастер-сторож, — говорит он. — Мы ждём. Это разные вещи.

И отходит к своим.

Я стою на пристани и смотрю, как двое чужих людей чинят мою доску.

Они делают это хорошо. Лучше, чем сделал бы я.

И от этого мне хочется их выгнать сильнее, чем от бумаги.

Книга третья. Глава 2. Счёт

Утром я считаю.

Не потому, что мне так хочется. Просто после похорон руки не знают, куда себя девать, а счёт их занимает.

В складе с утра холодно и светло. Свет идёт из узких окон под потолком, и в нём висит пар от дыхания, и видно, как он поднимается и пропадает у балок. На бочках с водой иней, и вода за ночь схватилась тонкой коркой, и я разбиваю её ладонью.

Сначала яйца. Мы считаем их вдвоём с Лошем: он стоит у прохода с мелом и записывает номера на ящиках, а я открываю крышки и смотрю. В складе холодно, и от ящиков пахнет соломой и чем-то тёплым, живым, и от этого запаха у меня в горле стоит комок.

Я кладу ладонь на крышку и чувствую, как под ней шевелится тепло. Оно живое и слабое, и его много, и оно целиком зависит от того, будем ли мы топить, кормить и не делать глупостей. Я убираю руку и вытираю её о штаны, будто запачкался.

— Двести шестьдесят девять, — говорит Лош.

— Двести семьдесят, — говорю я.

— Двести шестьдесят девять, — повторяет Лош.

— Лош.

— Двести шестьдесят девять, — говорит он. — Я считаю дважды.

Я подхожу и смотрю в его лист.

Он считает дважды, это правда. У него две колонки, и в каждой цифры, и он складывает их крестиками. Крестики у него ровные, как частокол.

— А почему дважды? — спрашиваю я.

— Потому что если считать один раз, — говорит Лош, — то можно ошибиться и не узнать об этом.

Он говорит это очень серьёзно, и я вдруг понимаю, что он не про яйца. Он про то, что если он ошибётся, то его выгонят. Он это видел, он это помнит, и он не хочет, чтобы это случилось снова.

— Ты молодец, — говорю я.

— Я знаю, — говорит Лош. — Мне Хорн сказал, что за это не платят, но я всё равно.

Он уходит к следующему ящику, и я слышу, как он бормочет: «Двести шестьдесят девять».

Потом я считаю людей.

Керн, Кай, Гром, Лира, мастер, Лош, Грив, Вельт, Хорн, я. Это десять. Мала с рынка, Тирк, мальчишка с моста и ещё четверо, которые пришли ночью и не ушли. Это семнадцать. Северян двенадцать. Итого двадцать девять человек, не считая зверей.

Двадцать девять. Я повторяю это про себя, как Лош повторяет свои двести шестьдесят девять, и мне от этого не легче.

Я считаю зверей.

Ноль, малыш, старый зверь без цепи, девять в норе, зверёныш мальчишки, ящер Велта. Это четырнадцать. И ещё сорок семь яиц в домах, которые могут вылупиться в любой день.

Сорок семь. Двадцать девять. Двести шестьдесят девять.

У меня в голове одни цифры, и это, наверное, единственное, что держит меня на ногах.

Хорн находит меня у печи.

Печь уже растоплена, и от неё идёт жар, и на полу вокруг неё лежит сухое пятно, а в двух шагах пол опять холодный. Я стою на границе, одной ногой в тепле, другой в холоде, и не перехожу.

Он в чёрном, и папка у него под мышкой, и вид у него такой, как будто он всю ночь считал. Может, и считал. У него под глазами тёмные мешки, и он не побрился.

— Мастер-сторож, — говорит Хорн.

— Советник, — отвечаю я.

— Я не советник, — говорит Хорн. — Я советник по смете. Это разные вещи. — Он открывает папку. — У меня вопрос.

— Задавайте, — говорю я.

— Кто платит за постой?

Я смотрю на него.

— За чей постой?

— За северян, — говорит Хорн. — Двенадцать человек. Они едят, они пьют, они жгут дрова. Дрова стоят денег.

— У них свои дрова, — говорю я.

— У них свои дрова, — соглашается Хорн. — Но они жгут их на нашей земле.

— На земле города, — говорю я.

— На земле города, — говорит Хорн и что-то пишет. — Это ещё хуже. Значит, город должен с них взять.

— Хорн, они чинят пристань, — говорю я.

— Пристань — это не деньги, — отвечает Хорн.

— Она стоит денег, — говорю я.

Хорн поднимает голову.

— Вот именно, — говорит он. — Пристань стоит денег. И если они её чинят, то они нам должны, а не мы им. — Он листает папку. — Я посчитал: постой, дрова, вода, место на берегу. Получается три серебряных в неделю.

— С человека? — спрашиваю я.

— С человека, — говорит Хорн. — И это дёшево.

Я смотрю на него.

— Хорн, у них гнездо умирает, — говорю я.

— Это не моё дело, — говорит Хорн. — Моё дело смета. У меня в смете не написано «гнездо умирает». У меня написано «постой».

И он говорит это сухо, и я уже слышал от него эту сухость десять раз, и каждый раз она оказывалась защитой, а не же-

стокостью.

Хорн идёт к берегу. Я иду за ним, потому что мне интересно, чем это кончится.

Мы вместе идём по берегу, и я вижу, как за одну ночь северяне обжили место. Шатры стоят ровно, между ними натянута верёвка, и на ней сушится сеть; у воды вкопан колышек с котлом, и рядом лежит разделочная доска, вымытая до белого. Они не сидят и не ждут. Они живут, и от этого мне делается хуже, чем от угрозы.

Борн сидит у шатра и чинит сеть. Он чинит её так, как чинят люди, которые делают это каждый день: быстро, не глядя, и узел у него идёт за узлом. Руки у него в соли, и он то и дело вытирает их о колено, и от этого на штанах остаются белые полосы.

Хорн останавливается перед ним.

— Старшина, — говорит он.

— Советник, — говорит Борн.

— Я не советник, — говорит Хорн.

— А я не старшина, — говорит Борн. — Я старшина. Но вы сказали «советник», и я сказал «старшина». Мы договорились.

Хорн смотрит на него и решает не спорить.

— Постой, — говорит он.

— Что постой? — спрашивает Борн.

— Вы стоите на земле города, — говорит Хорн. — Значит, вы платите за постой. Три серебряных в неделю.

Борн откладывает сеть.

— У нас нет серебряных, — говорит он.

— А что есть? — спрашивает Хорн.

— Соль, — говорит Борн. — Рыба. Шкуры. Два топора и одна лодка, которую я не могу продать, потому что она нужна.

Хорн что-то пишет.

— Соль, — говорит он. — Сколько?

— Четыре мешка.

— Рыба? — спрашивает Хорн.

— Восемь бочек. «Солёная», —говорит Борн.

— Шкуры? — спрашивает Хорн.

— Двадцать. Медвежьи и волчьи, — отвечает Борн.

Хорн перестаёт писать и поднимает голову.

— Медвежьи? — переспрашивает он.

— Медвежьи, — говорит Борн.

— Двадцать шкур? — спрашивает Хорн.

— Двадцать, — отвечает Борн.

Хорн долго смотрит на него. Потом закрывает папку.

— Старшина, — говорит он. — Вы понимаете, что ваши шкуры стоят дороже трёх серебряных в неделю?

— Понимаю, — говорит Борн.

— И вы готовы отдать их за постой?

— Я готов отдать их за то, чтобы мои люди жили на берегу и ели, — говорит Борн. — Если для этого надо назвать это постоем, пусть будет постой.

Хорн стоит и молчит.

И я вижу, что он не думает о деньгах. Он думает о чём-то другом, и по его лицу видно, что это другое ему не нравится.

Потом он открывает папку и говорит:

— Я не могу взять двадцать медвежьих шкур за постой.

— Почему? — спрашивает Борн.

— Потому что это не постой, — говорит Хорн. — Это грабёж. Я двадцать лет составлял сметы, и я знаю, как выглядит грабёж, когда его записывают в бумагу.

Он захлопывает папку.

— Я впишу постой по-другому, — говорит он. — «Содержание гостей за счёт принимающей стороны». Город заплатит.

Борн смотрит на него.

— Почему вы это делаете? — спрашивает Борн.

— Потому что вы мне не нравитесь, — говорит Хорн. — Но грабёж мне нравится ещё меньше.

Он поворачивается и уходит.

Борн смотрит ему вслед долго.

— Странный человек, — говорит Борн.

— Он считает, — говорю я. — Так он думает.

— А, — говорит Борн. — У нас тоже был такой. Он умер.

Он говорит это спокойно, и я понимаю, что для него это не шутка и не грубость, а просто правда: был человек, который считал, и его больше нет.

Я стою на берегу и смотрю, как северяне разгружают вто-

рую лодку.

Они вытаскивают мешки с солью, и бочки с рыбой, и шкуры, свёрнутые в трубку, и всё это складывают у шатра, ровно, как складывают люди, которые знают, что больше не привезут.

И я считаю.

Четыре мешка соли. Восемь бочек рыбы. Двадцать шкур. Сеть, которую чинят. Два топора. Одна лодка, которую нельзя продать.

Всё, что у них есть, они привезли с собой.

И всё это они готовы были отдать за то, чтобы их люди жили на моём берегу и ели.

Я смотрю на Борна и думаю: если бы я приехал к нему так, как он приехал ко мне, я бы тоже привёз всё, что у меня есть.

И тогда я понимаю, что мне не нравится не то, что они здесь.

Мне не нравится, что они уже согласны на любое.

К вечеру я не выдерживаю и сажусь у стены, потому что ноги гудят от счёта. За окнами синеет, в складе зажигают лампу, и свет у неё жёлтый и слабый, и от него все вещи кажутся старее, чем днём.

Кай находит меня вечером, за печью.

Он садится рядом на корточки и говорит тихо, хотя в складе никого нет, кроме старухи Мала у котла. У Кая лицо человека, который очень хочет, чтобы его похвалили, и очень боится, что его опять не заметят.

— Я их посчитал, — говорит Кай.

— Сколько? — спрашиваю я.

— Двенадцать, — говорит Кай. — Это я и вчера знал. Я посчитал другое.

— Что другое? — спрашиваю я.

— Я посчитал, кто из них, кто, — говорит Кай. — Кто гребец, кто с топором, кто ставит сеть. Это просто. Гребцы все с мозолями вот тут. — Он показывает на ладонь. — У кого топор, у того плечо выше. Сеть ставит тот, у кого на пальцах рубцы от верёвки.

Он говорит быстро, и я вижу, что он готовился. Что он стоял там, на берегу, и разглядывал их руки, и запоминал, и радовался, что видит то, чего не вижу я.

— И?

— И один не подходит, — говорит Кай.

Он садится на ящик и вытягивает ноги.

— У него нет мозолей от весла, — говорит он. — Он сидел на вёслах два раза, и после этого Борн его пересадил. Я видел. Он гребёт, как человек, который читал про это книгу.

— Может, он не гребец, — говорю я.

— Может, — говорит Кай. — Тогда почему у него нет и рубцов от сети? И почему у него плечи ровные?

— Значит, он не гребец и не сеть, — говорю я.

— Значит, он не из них, — говорит Кай.

Я молчу.

И в этой тишине я вдруг чувствую, как у меня холодеют

пальцы. Не от страха. От того, что Кай прав, а я сам этого не увидел. Я весь день считал яйца и людей, и у меня в голове были цифры, а рядом со мной сидел человек, за которым надо было смотреть.

Кай продолжает, довольный собой:

— И ещё он говорит «что».

— Что? — спрашиваю я.

— Не «что». Он говорит «што», — говорит Кай. — То есть он говорит «что», а они говорят «што». Понимаешь? Он выговаривает. Он не здешний.

— Он с севера, — говорю я.

— Он не с севера, — говорит Кай. — Северяне говорят «шти» и «што». Он говорит «что» и «что-то». Он выговаривает, как ты, когда читаешь вслух.

Я смотрю на него.

— Ты уверен? — спрашиваю я.

— Я вор, — говорит Кай. — Я двадцать лет слушаю, как люди говорят, чтобы знать, когда они врут. — Он пожимает плечами. — Ну, шестнадцать.

Он говорит это вроде бы в шутку, но я слышу, что под шуткой: он это умеет, и он этим гордится, и это единственное, чем он может быть полезен.

— И как его зовут? — спрашиваю я.

— Ланн, — говорит Кай. — Он сказал, что он возчик. При лодке.

— Возчик, — повторяю я.

— Возчик, — говорит Кай. — У возчика сапоги стоптанные, и он ими упирается в землю, когда тянет. А у него подошва городская: ровная, тонкая, и каблук не стёрт. Он в таких сапогах не тянет. Он в таких сапогах ходит по улице.

Я смотрю в сторону берега.

Там горит костёр, и вокруг него сидят северяне, и один из них сидит немного в стороне, и ест он медленно, и смотрит не в костёр, а на склад.

— И что он делает? — спрашиваю я.

— Ест, — говорит Кай. — И смотрит на склад. И ещё он вчера спросил у Креса, где ставится узел.

Я оборачиваюсь.

— Где? — переспрашиваю я.

— Где, — говорит Кай. — Не «как». Где.

— И что Крес? — спрашиваю я.

— Крес сказал: «На бумаге». А он сказал: «А на двери?»

В складе тихо.

— И что Крес? — спрашиваю я.

— Крес долго на него смотрел, — говорит Кай. — А потом сказал: «На двери узел не держится». И ушёл.

Я сижу и смотрю на костёр. Огонь за стеной ровный, и от него на бочках у окна лежат тонкие красные полосы.

— Кай, — говорю я.

— Что? — спрашивает Кай.

— Не трогай его.

— Я и не собирался, — говорит Кай.

— И не смотри на него так, как ты смотришь на людей, которых считаешь.

Кай обижается.

— Я смотрю на всех одинаково, — говорит он.

— Ты смотришь на всех как на кошельки, — говорю я. — Это заметно.

— Это заметно только тебе, — говорит Кай. — И то потому, что ты тоже так смотришь.

Он встаёт. И я вижу, что он не столько обиделся, сколько испугался: он всё сделал, а получил не «молодец», а «не смотри так».

— Молодец, — говорю я.

Кай останавливается.

— Что? — спрашивает он.

— Молодец, — говорю я. — Ты увидел то, чего я не видел.

Он стоит и не знает, куда девать лицо, и в конце концов делает вид, что поправляет рукав.

— Ладно, — говорит он. — Я буду смотреть. Но не на него. На лодку. У него под скамьёй ящик, и он его не открывает при людях.

Я киваю.

Кай уходит к себе, а я сажусь у печи и слушаю, как за стеной горит чужой костёр.

Ланн. Возчик. Городские сапоги. Вопрос про узел на двери.

Человек, который сидит у чужого костра и смотрит на мой

склад, не приехал за постоем.

Он приехал за чем-то, что стоит в моём складе.

И самое плохое, что я пока не знаю, за чем именно.

К костру я иду сам.

Вечером берег делается другим: вода светлее неба, шатры чёрные, и от каждого шатра к костру тянется своя тень. Я иду по мокрому песку, и он проминается под сапогами, и от этого шаги слышно раньше, чем меня видят.

Не потому, что хочу есть. Потому что если я не подойду, то буду всю ночь думать, как они там сидят, и в конце концов придумаю себе такое, чего нет.

Ночь холодная, и от воды идёт сырость, и когда я подхожу, дым разворачивается и бьёт мне в лицо. Я стою и моргаю, и от дыма у меня текут слёзы, и я рад, потому что можно сделать вид, что это из-за дыма.

Северяне сидят вокруг огня на перевёрнутых ящиках и на шкурах. У них котёл, и в котле уха, и пахнет от неё так, что у меня сводит живот. Я целый день считал яйца и людей и не заметил, что не ел.

Борн поднимает голову.

— Мастер-сторож, — говорит он. — Садитесь.

Они сдвигаются, и я сажусь на ящик, и мне дают кружку. Кружка горячая, и я держу её двумя руками, и руки у меня отходят не сразу.

— Спасибо, — говорю я.

— Не за что, — отвечает Борн. — Уха общая.

Я пью. Уха солёная и жирная, и в ней плавники, и я ем их, потому что голодный, и потому что если я не буду есть, то придётся говорить.

— Хорошая, — говорю я.

— Рыба своя, — говорит Борн. — Соль своя. Вода ваша.

Он говорит это без злости. Просто говорит.

— Борн, — говорю я. — Расскажите про своё гнездо.

Он смотрит в котёл. Огонь идёт снизу, и лицо у него становится красным, и от этого морщины видны резче.

— Большой дом, — говорит он. — Три яруса. Внизу тепло, наверху холодно. Восемьдесят человек. Двадцать зверей. — Он мешает уху. — Было двадцать.

— А теперь? — спрашиваю я.

— Теперь четырнадцать, — говорит Борн. — Шесть ушли в лес. Один умер зимой. — Он поднимает глаза. — Трубы остывают с той стороны, где детская.

Он говорит это ровно, и я вдруг представляю себе эту детскую: низкие окна, кровати вдоль стены, и на стенах изморозь, и дети дышат в ладони.

Я не знаю, как выглядит их детская. Я никогда её не видел. И всё равно вижу её яснее, чем этот берег, чем костёр и чем лицо Борна.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что печать трескается, — говорит Борн. — Она трескается с одного края. Тот, кто её ставил, ставил наспех.

— Кто её ставил? — спрашиваю я.

Борн молчит.

— Мастер, — говорит он. — У нас есть мастер. Крес. — Он кивает на Креса, который сидит с другой стороны костра и режет дерево. — Он держит, сколько может. Но он не слышит.

— А кто слышит? — спрашиваю я.

— Вы, — говорит Борн. — И ваш зверь.

Крес поднимает голову.

— Не он, — говорит Крес. — Зверь.

Все смотрят на него.

— Зверь прочитал печать, — говорит Крес. — Значит, он может её открыть. Мастер только нужен, чтобы он открыл не так, как хочет.

— А как он хочет? — спрашиваю я.

Крес смотрит на меня. У него глаза светлые и очень спокойные, и от этого спокойствия мне делается нехорошо.

— Наружу, — говорит он. — Все хотят наружу.

Он говорит это спокойно, и от его спокойствия у меня на руках выступает холод, ровный, как роса. Я сжимаю кружку крепче, чтобы руки не дрожали, и горячее железо не помогает.

Я допиваю уху и ставлю кружку.

— Борн, — говорю я. — А зачем вам я? У вас есть мастер. Пусть он и открывает.

— Он не слышит, — повторяет Борн.

— И что будет, если он откроет? — спрашиваю я.

Борн и Крес переглядываются.

— Тогда, — говорит Крес, — проснётся то, что внизу.

— И? — спрашиваю я.

— И оно съест тепло, — говорит Крес. — Всё. Не только наше. — Он смотрит на склад. — И ваше тоже.

В костре трещит полено. Искры идут вверх и гаснут в темноте.

— Поэтому вы привезли бумагу, — говорю я.

— Поэтому мы привезли бумагу, — говорит Борн.

Ланн сидит немного в стороне и ест молча.

Он ест аккуратно, и ложку держит не так, как остальные: не в кулаке, а тремя пальцами. У него чистые руки, и когда он облизывает ложку, он делает это не так, как делают голодные люди.

— А вы? — спрашиваю я.

Он поднимает голову.

— Я? — переспрашивает Ланн.

— Вы тоже с севера? — спрашиваю я.

— При лодке, — говорит Ланн.

— Это не ответ, — говорю я.

— Это ответ, — говорит Ланн. — Я при лодке. Лодка с севера. Значит, и я.

Борн смотрит на него и молчит. И я вижу, что Борн его не любит, но не может сказать об этом вслух.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— Ланн.

— Ланн, — говорю я. — А вы не скажете мне, где вы были до лодки?

Он кладёт ложку.

— В столице, — говорит он.

— Давно? — спрашиваю я.

— Полгода, — отвечает Ланн.

— И как вам столица? — спрашиваю я.

— Шумная, — говорит Ланн. — И в ней много бумаги.

Он смотрит на меня ровно, без вызова, и я вижу, что он не боится, что я его раскрою. Он ждёт этого. Он сидит и ждёт, как человек, который давно решил, что ему нечего терять.

— А почему вы пошли в возчики? — спрашиваю я.

— Потому что возчику платят, — говорит Ланн. — А писцу нет.

Он встаёт и уносит свою кружку к воде.

Борн провожает его глазами.

— Он хороший работник, — говорит Борн. — Руки нежные, но он старается.

— Борн, — говорю я. — Он не возчик.

— Я знаю, — говорит Борн.

Я смотрю на него.

— И вы его взяли?

— Мне сказали, что он поедет с нами, — говорит Борн. — Мне не сказали, кто он. Мне сказали: «Он поедет». — Он подкладывает дров. — Я спросил: «Зачем?» Мне сказали: «Чтобы вы не сделали глупость».

— Кто сказал?

Борн смотрит на огонь. Он долго молчит, и я вижу, как у него ходит челюсть.

— Тот, кто подписал бумагу, — говорит он. — Тот же, кто написал нам, что у вас есть мастер.

Он поднимает голову.

— Мастер-сторож, — говорит Борн. — Я не знаю, кто он. Я двадцать лет получаю от него бумаги. И знаете, что я понял?

— Что? — спрашиваю я.

— Что он всегда прав, — говорит Борн. — Вот что самое плохое. Он всегда пишет так, что не сделать по его бумаге — значит сделать хуже.

Я сижу у костра и смотрю в огонь. И думаю о том, что этот человек, где бы он ни был, уже дважды оказался прав: он знал, что мастер поедет, и знал, что я не откажусь.

Ланн возвращается от воды и садится на своё место, и я вижу, что он смотрит не на меня, а на склад. На дверь. На то место, где висит засов.

— Ланн, — говорю я.

Он оборачивается.

— Вы спрашивали у Креса, где ставится узел.

Он молчит.

— На двери, — говорю я. — Зачем вам узел на двери?

Он смотрит на меня долго. Огонь у него в глазах стоит двумя маленькими точками.

Потом говорит:

— Мастер-сторож, а вы бы отдали бумагу, если бы вас попросили?

— Нет, — говорю я.

— Я так и думал, — говорит Ланн и встаёт. — Спокойной ночи.

Он уходит к лодке. Идёт он, не спеша, и не оборачивается, и от этого мне кажется, что он надо мной смеётся.

Я сижу у костра ещё немного, и северяне не говорят со мной, и я не говорю с ними, и это, пожалуй, самый спокойный разговор за весь день.

В склад я возвращаюсь, когда луна уже высоко.

Мастер не спит. Он сидит у печи, и рядом с ним на полу стоят две кружки, и одна из них полная.

В складе тихо так, что слышно, как оседает уголь. Люди спят на ящиках и на полу, и кто-то во сне говорит, и я не разбираю слов. Печь уже прогорела с одного края и светит красным, и на дальней стене от неё стоит пятно, и в нём видно, как шевелится тень мастера, когда он поворачивает голову.

— Садись, — говорит он.

Я сажусь.

Он подвигает мне кружку.

— Ты был у них, — говорит мастер.

— Был, — отвечаю я.

— И что? — спрашивает он.

— Уха, — говорю я. — Разговор.

Мастер смотрит на огонь.

— Расскажи, — говорит он.

И я рассказываю. Про гнездо, про детскую, про трещину, которая идёт от одного края. Про то, что Крес говорит, что зверь может открыть печать, а мастер нужен только для того, чтобы он открыл не так, как хочет. Про Ланна, который сидел в стороне и держал ложку тремя пальцами.

Мастер слушает и не перебивает.

Когда я заканчиваю, он долго молчит.

— Ланн, — говорит мастер. — Он тебе назвался?

— Назвался, — отвечаю я.

— Сам? — спрашивает он.

— Сам, — говорю я.

Мастер качает головой.

— Плохо, — говорит он.

— Почему плохо? — спрашиваю я.

— Потому что человек, который скрывается, имени не называет, — говорит мастер. — А человек, который знает, что его не тронут, называет.

Он берёт свою кружку и держит её, не пьёт.

— Хальд, — говорит мастер. — Я знаю Креса.

— Ты говорил, — отвечаю я.

— Я говорил, что мы учились, — говорит мастер. — Я не говорил, чему.

Он смотрит в огонь.

— Мы учились ставить печати на людей, — говорит он.

— Это не то, что ты думаешь. Это не больно. Это хуже.

Он говорит это тихо, и я вижу, как у него на шее двигается жила, и как он держит кружку обеими руками, хотя она уже пустая.

Я молчу.

— Ты кладёшь печать человеку на грудь, — говорит мастер. — И он начинает бояться. Не тебя. Себя. Он боится, что скажет лишнее, и тогда печать стянется, и ему станет больно. И он молчит. И чем дольше он молчит, тем крепче держится печать, потому что она держится на страхе.

Он ставит кружку.

— Я ставил такие четыре года, — говорит он. — А потом ушёл.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что однажды я ставил печать мальчику, — говорит мастер. — Ему было столько же, сколько тебе. И он не боялся. Он смотрел на меня и не боялся, и я не смог. — Он поднимает глаза. — Я вышел и больше не вернулся.

Я смотрю на его белую руку.

— А Крес? — спрашиваю я.

— А Крес смог, — говорит мастер. — Он ставил и после этого. Он ставил ещё двадцать лет.

Огонь в печи трещит.

— Ты его боишься? — спрашиваю я.

Мастер молчит.

— Да, — говорит он. — Боюсь.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что он не злой, — говорит мастер. — Злого можно перехитрить. А он просто делает работу, и делает её хорошо. — Он смотрит на меня. — И ещё потому, что он меня знает. Он знает, что я ушёл, и он знает почему. И он двадцать лет думает, что я дурак.

— А ты думаешь, что дурак он? — спрашиваю я.

— Я думаю, что мы оба, — говорит мастер. — Просто по-разному.

Он встаёт и уносит кружки к бочке с водой.

— Хальд, — говорит он, не оборачиваясь. — Ты не сможешь его перехитрить.

— Я знаю, — отвечаю я.

— И не сможешь его испугать.

— Знаю, — говорю я.

— Тогда тебе остаётся одно, — говорит мастер и оборачивается. — Сделать так, чтобы ему нечего было ставить.

Он уходит к себе.

Я сижу у печи.

И долго думаю о том, что он сказал.

Ночью я просыпаюсь от того, что кто-то стоит надо мной.

Я не слышал, как он подошёл. Я вообще сплю в последние дни так, как спят люди, у которых в доме чужой: вполглаза, и всё равно не слышу.

Это малыш.

Он стоит у моего ящика и смотрит на меня, и на боку у

него белеет ожог. В темноте он похож на тень, у которой есть глаза.

— Что? — спрашиваю я.

Он поворачивается и идёт к двери.

Я встаю и иду за ним.

В складе темно, и только у печи светится Ноль, и от него идёт тепло, и на полу лежат длинные тени. Я иду босиком, и пол холодный, и от этого холод поднимается вверх, к самому горлу.

Малыш подходит к входной двери и садится.

Он садится так, что дверь оказывается между ним и мной, и смотрит не на засов, а на щель под ним.

— Что там? — спрашиваю я.

Он смотрит на дверь.

Я подхожу и кладу руку на засов.

Засов холодный. Я тяну его на себя, и он идёт легко, и дверь открывается на палец.

В щели что-то чернеет.

Я открываю шире и вижу нитку.

Тонкую, чёрную, вшитую в дерево у самой ручки. Она идёт из щели в щель, стягивается в узел, и узел недоделан: одна петля вышла, а вторая оборвана.

Я стою и смотрю на неё. И у меня по спине идёт холод, ровный, как вода.

Кто-то стоял здесь. Ночью, пока я спал. В двух шагах от моих людей.

Я закрываю дверь и иду за мастером.

Мастер приходит сонный, в одной рубахе, и сначала ругается, а потом видит нитку и замолкает. Он садится перед дверью на корточки и смотрит долго.

— Это узел, — говорит он наконец.

— Я вижу, — отвечаю я.

— Это недоделанный узел, — говорит мастер. — Его начали ставить и не закончили. — Он трогает нитку ногтем. — Тот, кто это делал, спешил.

— Или его спугнули, — говорю я.

— Или его спугнули, — соглашается мастер.

Он поднимается. И я вижу, что у него дрожат руки. Не от страха. От злости.

— Хальд, — говорит он. — Узел нельзя поставить снаружи, если дверь закрыта изнутри. Он должен лечь на засов.

Я смотрю на засов.

Он целый. На нём ничего нет.

— Значит, он не лёг, — говорю я.

— Значит, не лёг, — соглашается мастер. — Но начать он мог.

Он смотрит на меня.

— Тот, кто это делал, стоял вот здесь, — говорит он и показывает на пол перед дверью. — Снаружи. И он умеет ставить узлы так, как их ставят в канцелярии.

Я оборачиваюсь.

Малыш сидит у двери и смотрит на нитку, и я вижу, что

он её не боится.

Он её узнаёт.

И от этого мне становится по-настоящему страшно. Не за себя. За него. Потому что если он узнаёт такие узлы, значит, он уже видел их раньше, и я не знаю где.

Я выхожу на пристань.

Над рекой туман, и у лодок никого нет, и костёр у шатров погас.

Только на воде, у самого берега, идёт рябь, как будто кто-то только что отошёл.

Я смотрю на неё долго, пока не начинают мёрзнуть ноги. Рябь расходится и пропадает, и вода опять делается гладкой, и в ней стоят звёзды. Я не знаю, что хуже: то, что здесь кто-то был, или то, что он ушёл так тихо, что я не услышал.

Книга третья. Глава 3. Мастер без слуха

Крес приходит на следующее утро, когда я чищу Ноля.

Свет из щелей в воротах ложится на пол полосами, и в этих полосах висит пыль, и она стоит так ровно, что кажется, будто время в складе остановилось. Утро холодное, и изо рта у меня идёт пар, и я вижу его на фоне полосы света.

Я не спал. Я лежал и слушал, как за стеной ходят, и считал шаги, и под утро шаги кончились, и от этого стало хуже, чем от шагов.

Ноль лежит на боку у печи и терпит. Я тру его щёткой, и чешуя идёт волной, и под ней розовая кожа, и на боку у него узор: круг, черта, закорючка. Щётка у меня в руке уже час,

и ладонь горит, но я не останавливаюсь, потому что пока я чищу, мне кажется, что я что-то делаю.

Крес останавливается в двух шагах и смотрит.

Он стоит и не подходит, и я вижу, что он ждёт разрешения. Это меня удивляет больше всего: он пришёл забирать, а стоит, как гость.

— Можно? — спрашивает Крес.

— Что можно? — спрашиваю я.

— Посмотреть, — отвечает Крес.

Я отступаю. Крес садится на корточки и кладёт руки на колени, ладонями вверх, и Ноль поднимает голову и смотрит на него.

Они смотрят друг на друга долго. Ноль не рычит и не отодвигается. Он просто смотрит, и в его глазах я не вижу ни страха, ни злости.

— Он меня не боится, — говорит Крес.

— Он вас не знает, — говорю я.

— Он меня знает, — говорит Крес. — Он знает, что я не могу.

Он поднимается. И когда он поднимается, я вижу, как он опирается на колено, и как у него дёргается щека, и понимаю, что он не спал тоже.

— Мастер-сторож, — говорит Крес. — Мне надо с вами поговорить.

— Говорите, — отвечаю я.

— Наедине, — говорит Крес.

Мы спускаемся в зал.

На лестнице темно, и ступени под ногами стёрты посередине, и я иду, держась за стену. Внизу пахнет камнем и тёплой пылью, и воздух делается гуще, как бывает в подвале, где долго топили.

Крес идёт по коридору и трогает стены. Не просто так: он ведёт пальцами по кирпичу, как ведут по странице, и на каждом повороте останавливается на секунду.

— Тёплые, — говорит Крес.

— Трубы, — отвечаю я.

— Трубы, — соглашается он. — У нас такие же. Только холодные.

Он говорит это ровно, и я вдруг представляю себе его дом: такой же коридор, только стены холодные, и человек идёт по нему и трогает их, и ничего не чувствует.

В зале он останавливается перед колонной.

Свет идёт по ней снизу вверх, ровный, золотой, и Крес смотрит на него, и лицо у него делается такое, как у нашего мастера, когда тот смотрел на кольцо.

— Двадцать лет, — говорит Крес.

— Что двадцать лет? — спрашиваю я.

— Я смотрю на это двадцать лет, — говорит Крес. — Только с той стороны. — Он обходит колонну. — У нас внизу то же самое. Только там печать серая.

Он садится на пол у подножия. Просто садится, как садятся дома, и от этого мне делается не по себе: я не хочу, чтобы

он здесь сидел, и не знаю, как его выгнать.

— Садитесь, — говорит он. — Это долго.

Я сажусь.

Крес достаёт из ящика на поясе маленькую дощечку, кусок сажи и нитку. Ящик у него старый, с потёртой крышкой, и когда он его открывает, пахнет смолой и чем-то ещё, похожим на запах нашей мастерской.

— Вы знаете, что такое печать? — спрашивает Крес.

— Мне говорили, — отвечаю я.

— Вам говорили, что это знак, — говорит Крес. — Это не знак. Знак можно нарисовать. Печать нельзя нарисовать.

Он кладёт на колено дощечку и проводит по ней сажей.

— Печать — это узел, — говорит он. — Узел держит не рисунок, а натяжение. Вот смотрите.

Он берёт нитку и делает петлю. Петля простая, но когда он её стягивает, она не развязывается, а замирает, как живая.

— Видите? — говорит Крес. — Она держит сама себя. Если я потяну за этот конец, она разойдётся. Если за этот, она стянется крепче.

Я смотрю на петлю, и она и правда кажется живой: нитка натянута так ровно, что в ней видна каждая ворсинка, и от натяжения она блестит, как смазанная.

— И? — спрашиваю я.

— И вся печать — это много таких узлов, собранных в один, — говорит Крес. — Мастер не рисует. Мастер натягивает. И когда он натягивает правильно, узел начинает рабо-

тать.

Он развязывает петлю и убирает нитку.

— А теперь главное, — говорит он. — Мастер чувствует узел рукой. Не глазами. Рукой. — Он поднимает ладонь. — У меня на этой руке нет отпечатков.

Я смотрю.

Ладонь у него гладкая, как у человека, который всю жизнь держал что-то горячее. Ни линий, ни бугорков, ни мозолей. Просто гладкая кожа, и на ней блестит свет.

Я протягиваю руку и трогаю её. Кожа тёплая и сухая, и под пальцем не остаётся ничего: ни следа, ни шероховатости. Как будто трогаешь камень, который долго лежал на солнце.

— Не надо, — говорит Крес и убирает руку. — Она не любит, когда её трогают.

— Двадцать лет, — говорит Крес. — Каждая печать снимает с пальцев немного кожи. Сначала это мозоли. Потом трещины. Потом ничего.

— И вы не чувствуете? — спрашиваю я.

— Я чувствую свою работу, — говорит Крес. — Если я поставил печать, я её чувствую, где бы она ни была. А чужую нет.

Он смотрит на колонну.

— Эту ставил не я, — говорит он. — Её ставили до меня. И поэтому я её не слышу. Я двадцать лет хожу вокруг своей печати и не знаю, что у неё внутри.

— А ваш мастер? — спрашиваю я.

— Мой мастер умер, — говорит Крес. — Он был старый. Он ставил её ещё при мне, и тогда я был молод и думал, что успею научиться.

Он говорит это без жалости к себе, и от этого мне становится ещё хуже. Я бы хотел, чтобы он жалел себя. Тогда его можно было бы ненавидеть.

— А вы не пробовали бросить? — спрашиваю я.

Крес поднимает на меня глаза.

— Что бросить? — спрашивает он.

— Печати, — говорю я.

Он долго молчит.

— Пробовал, — говорит он. — Один раз. Я ушёл из мастерской и год работал в порту: таскал мешки и был счастлив.

— И почему вернулись? — спрашиваю я.

— Потому что руки помнят, — говорит Крес. — Я стоял в порту, смотрел на людей и видел у них на груди узлы. Не глазами. Руками. Я просыпался ночью и чувствовал, что где-то рядом плохо лежит печать, и не мог уснуть, пока не поправлю.

Он смотрит на свою ладонь.

— Так что я вернулся, — говорит он. — Не потому, что мне нравится. Потому что меня больше нигде нет.

Он поднимает глаза.

— Мастер-сторож, — говорит Крес. — Я приехал не за вами. Я приехал за тем, кто может слышать. Это разные ве-

щи.

— Для меня нет, — говорю я.

— Для меня есть, — говорит Крес. — Мне не нужен мастер-сторож. Мне нужен человек, который положит руку на печать и скажет, что она делает. — Он смотрит на меня. — И мне нужен ваш зверь, потому что он уже прочитал одну.

Я молчу.

Крес ждёт. Он не давит и не торопит, и от этого его ждать тяжелее, чем если бы он кричал.

— Крес, — говорю я. — Что будет, если печать откроется?

Он долго не отвечает.

— Я не знаю, — говорит он наконец.

— Вы мастер, — говорю я.

— Я мастер, — соглашается Крес. — И поэтому я знаю, что бывает, когда мастер говорит, что знает всё.

Он встаёт и отряхивает штаны.

— Я знаю только одно, — говорит он. — Она трескается. У нас трещина идёт от детской к кухне. За месяц она прошла четыре шага. — Он смотрит на меня. — Ещё месяц, и она дойдёт до печи. А потом трубы остынут совсем.

— И тогда? — спрашиваю я.

— И тогда внизу проснётся то, что спит, — говорит Крес. — Потому что его держит не печать. Его держит тепло.

Я иду за ним.

Наверху он останавливается у двери и говорит:

— Мастер-сторож, я предлагаю вам поехать со мной.

— Я уже сказал, — отвечаю я.

— Вы сказали «нет», — говорит Крес. — Я предлагаю не ответ, а поездку. Поедем, посмотрите. Если не сможете — вернётесь.

— И вы меня отпустите? — спрашиваю я.

— Отпущу, — говорит Крес.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что пленник не слышит, — говорит он. — Он ждёт, когда его поведут.

Я смотрю на него.

— Крес, — говорю я. — У меня триста яиц и город, которому нужно тепло. Если я уеду на месяц, здесь всё развалится.

— Если вы не уедете, — говорит Крес, — то через месяц развалится у нас. А потом придёт сюда.

— Придёт что? — спрашиваю я.

— Тепло уходит, — говорит Крес. — Оно уходит вниз, к тому, что спит. И когда оно дойдёт до него, он проснётся. — Он открывает дверь. — И тогда ему будет всё равно, где ваша печать, а где наша.

Он выходит на пристань.

Я стою в дверях. В лицо мне идёт холодный воздух с реки, и пахнет водой и дымом.

— Крес, — говорю я. — А почему вы не заберёте зверя сами?

Он оборачивается.

— Потому что я не вор, — говорит он. — Я мастер.

— А если я не поеду?

Крес смотрит на меня долго.

— Тогда мы заберём вашего зверя, — говорит он. — Не потому, что мы злые. Потому что у нас нет другого выхода, а у вас есть.

Он идёт к своим.

И я стою в дверях и смотрю, как он идёт, и думаю о том, что он сказал: у вас есть выбор. И понимаю, что он прав, и что от этого мне ещё хуже.

Вечером я собираю своих.

За окнами уже сине, и в складе зажгли две лампы: одну у печи, другую на столбе, и от второй всё кажется жёлтым и неровным. Тени у людей идут к стенам и там ломаются, и от этого лиц не разобрать, только глаза блестят.

Мы садимся у печи: Керн, Кай, Гром, Лира, мастер, Вельт, Грив. Лош стоит у стены с мелом, потому что он всегда стоит у стены с мелом, и я не выгоняю его.

В складе тепло, и от этого все сидят вялые, и никто не хочет начинать. У Керна лицо человека, который уже посчитал, сколько людей он сможет поставить у двери. У Грома на коленях камень, и он его не гладит, а сжимает.

Малыш сидит у двери в стене. Ноль лежит рядом со мной.

— Значит, так, — говорю я. — Крес мастер печатей. Он привёз бумагу, по которой я их. Он говорит, что заберёт Ноля.

Керн смотрит на меня.

— Он может? — спрашивает Керн.

— Он мастер, — говорит наш мастер. — Он может многое.

— Он может забрать Ноля? — переспрашивает Керн.

Мастер молчит. Потом говорит:

— Он может поставить на него печать.

В складе становится тихо. Слышно, как в печи оседает уголь.

Лира прижимает книгу к груди обеими руками, как прижимают к груди ребёнка. Гром сжимает камень так, что у него белеют пальцы. Кай смотрит на мастера, и рот у него приоткрыт, и он забыл его закрыть.

— Какую печать? — спрашиваю я.

— Печать подчинения, — говорит мастер. — Её ставят на зверей, которые не слушаются. Зверь после неё делает, что скажут. — Он смотрит на Ноля. — Иногда навсегда.

— А если он её поставит? — спрашиваю я.

— Тогда Ноль пойдёт за ним, — говорит мастер. — И будет открывать то, что ему скажут.

Кай медленно откладывает корку. Он кладёт её на ящик и вытирает руки о штаны, хотя руки у него чистые.

— И сколько времени ему нужно? — спрашивает он.

— На зверя? — мастер пожимает плечами. — Минуту. Может, две. Если зверь не сопротивляется.

— А если сопротивляется? — спрашивает Кай.

— Тогда больше, — отвечает мастер.

Гром поднимает голову.

— Значит, надо не дать ему поставить, — говорит Гром.

— Как? — спрашивает Керн.

— Драться, — отвечает Гром.

Керн качает головой.

— Двенадцать человек, — говорит он. — С ними мастер, который ставит печати быстрее, чем мы успеем моргнуть. И если мы начнём первыми, завтра сюда придёт Вейлен и скажет, что мы напали на людей канцелярии.

— А если они начнут первыми? — спрашивает Вельт.

— Тогда мы будем правы, — говорит Керн. — И всё равно проиграем, потому что у них бумага.

— Бумага не дерётся, — говорит Гром.

— Бумага приводит тех, кто дерётся, — говорит Керн.

Гром сжимает камень так, что у него белеют пальцы.

— Я видел, как дерутся те, кого приводят, — говорит он. — Они не дерутся. Они просто заходят и становятся.

Я сижу и слушаю.

И я замечаю, что все смотрят на меня. Не на мастера, не на Керна. На меня. И ждут, что я скажу.

А я не знаю, что сказать.

Лира смотрит в книгу и вдруг говорит:

— Здесь написано про печать подчинения.

Все поворачиваются к ней.

— Что там? — спрашивает Керн.

— Она держится на страхе, — говорит Лира. — Зверь боится — печать ложится. Если зверь не боится, она не ложится.

— То есть? — спрашивает Кай.

— То есть если Ноль её не испугается, — говорит Лира, — то Крес её не поставит.

В складе тихо.

— А он испугается? — спрашивает Кай.

Все смотрят на Ноля.

Ноль лежит у печи, и от него идёт тепло, и он смотрит на меня, и в глазах у него ничего нет, кроме скуки. Я знаю его достаточно, чтобы понять: он не боится. Он вообще не понимает, о чём мы говорим.

— Не знаю, — говорю я.

— А если он испугается и всё равно не подчинится? — спрашивает Вельт.

— Тогда печать сгорит, — говорит Лира. — Вместе с ним.

Кай встаёт.

— Значит, мы не будем рисковать, — говорит он.

— Сядь, — говорит Керн.

— Я не буду, — говорит Кай. — Я не хочу сидеть, когда решается, сгорит он или нет.

— Сядь, — повторяет Керн, и в его голосе появляется то, чего в нём раньше не было. — Здесь решают все, и ты тоже. Но не так.

Кай садится. И я вижу, что он испугался не Керна, а себя.

Я встаю.

— Ладно, — говорю я. — Спасибо.

— И это всё? — спрашивает Кай.

— Это всё, — говорю я. — Я подумаю.

— Хальд, — говорит Кай.

— Я подумаю, — повторяю я.

Они расходятся.

Керн уходит последним и у двери говорит:

— Хальд, — говорит Керн.

— Что? — спрашиваю я.

— Если ты решишь драться, — говорит он, — скажи мне за час. Мне нужно расставить людей.

— Я скажу, — говорю я.

— И ещё, — говорит он. — Не думай, что я боюсь.

— Я не думаю, — отвечаю я.

— Думаешь, — говорит Керн. — Я вижу по лицу. Я боюсь, это правда. Но я боюсь не драки.

— А чего? — спрашиваю я.

Он смотрит на дверь.

— Того, что мы не будем драться, — говорит он. — И тогда нам придётся стоять и смотреть, как он это делает.

Он уходит.

Я остаюсь у печи.

Лира возвращается.

Она забыла книгу, и она берёт её и стоит, и я вижу, что уходить она не собирается.

— Хальд, — говорит Лира.

— Что? — спрашиваю я.

— Я не всё сказала, — говорит она. — При всех.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что при всех Кай испугался бы ещё больше, — говорит она. — А он и так держится на честном слове.

Я смотрю на неё.

— Говори, — говорю я.

Лира садится на ящик и открывает книгу на закладке.

— Здесь написано, что печать подчинения нельзя снять, — говорит она. — Её можно только сжечь.

— Сжечь? — спрашиваю я.

— Зверь должен сам её сжечь, — говорит Лира. — Изнутри. Он должен не испугаться, и не подчиниться, и тогда печать начнёт гореть.

Она поднимает глаза.

— И тогда он сгорит вместе с ней.

Я молчу.

— Ты это уже сказала, — говорю я. — При всех.

— Я сказала «сгорит», — говорит Лира. — Я не сказала, что это не сразу. — Она показывает страницу. — Здесь написано, что зверь горит три дня.

— Три дня? — спрашиваю я.

— Три дня, — говорит Лира. — И всё это время он в сознании.

В складе тихо. В печи оседает уголь.

— Лира, — говорю я. — Зачем ты мне это говоришь?

— Затем, что ты должен знать, — говорит она. — Ты сегодня решаешь. И если ты решишь неправильно, я не хочу потом думать, что ты не знал.

Она закрывает книгу.

— И ещё, — говорит она. — Крес этого тоже не знает.

— Почему ты так думаешь? — спрашиваю я.

— Потому что он мастер, — говорит Лира. — Он ставит печати. Он не читает, что с ними потом.

Она встаёт.

— Хальд, — говорит она у двери.

— Что? — спрашиваю я.

— Ты не виноват, — говорит Лира. — То, что Крес приехал, это не из-за тебя.

— Я знаю, — отвечаю я.

— Нет, — говорит она. — Ты не знаешь. Ты сидишь и считаешь, сколько ты не сделал. Я вижу, как ты считаешь.

Она уходит.

И я остаюсь один.

И я думаю: а ведь она права. Я считаю. Я считаю яйца, людей, зверей, шаги, дни. Я считаю всё, кроме того, что должен решить.

Малыш сидит у двери в стене и смотрит на меня. Он сидел здесь весь разговор и не двигался, и я даже забыл про него, а он, наверное, слышал каждое слово.

Теперь он встаёт.

Он подходит ко мне и кладёт лапу мне на колено. Лапа тяжёлая и тёплая, и я накрываю её ладонью.

— Что? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня.

А потом разворачивается и идёт к двери в стене, и я вижу, как кирпич, который нарисован, сходит сам, и как за ним открывается железо, и как малыш спускается вниз.

— Малыш, — говорю я.

Он не оборачивается.

Я иду за ним.

В зале темно, и только колонна светится слабо, серо, и малыш садится у её подножия.

Он кладёт лапу на печать.

И я слышу, как в трубах что-то поворачивается.

Не так, как всегда. Тяжело. Как будто где-то далеко закрывают ставни. И потом ещё раз, и ещё, и звук идёт по всему дому, сверху вниз, как идёт вода по жёлобу.

— Малыш, — говорю я. — Что ты делаешь?

Он не отвечает.

Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу то, чего не видел раньше.

Он не боится.

Он готовится.

Я сижу у колонны до утра.

В зале темно, и только сама колонна светит серым, и свет её не поднимается вверх, а стекает вниз, к подножию, и по

полу расходятся слабые полосы. Камень подо мной тёплый, как лежанка, и я чувствую, как тепло идёт снизу, сквозь штаны, в кости.

Сначала я пробую говорить с малышом. Он не отвечает: он сидит, положив лапу на печать, и свет идёт по колонне вниз, а не вверх, и от этого в зале делается теплее, чем было. Я говорю с ним долго: про Ноля, про берег, про то, что никто его не заберёт. Он слушает, я знаю, что слушает. И не двигается.

Потом я пробую его оттащить.

Я беру его за плечи и тяну. Он не поддаётся. Не потому, что он тяжёлый, а потому, что он держится за печать, как держатся за поручень на воде. И когда я тяну сильнее, в трубах что-то стонет, и малыш вздрагивает, и я отпускаю.

Я сажусь на пол и смотрю на свои руки.

Я ничего не могу сделать. Впервые за всё время, что я здесь, я не могу сделать ничего.

Потом я иду за мастером.

Мастер приходит в зале, зевая, и когда видит, что делает малыш, зевота у него проходит.

— Ох, — говорит он.

— Что «ох»? — спрашиваю я.

— Он её закрывает, — говорит мастер. — Не открывает. Закрывает.

— Куда? — спрашиваю я.

Мастер подходит и смотрит на свет.

— Внутрь, — говорит он. — Опять внутрь.

Я сажусь на пол.

— Мастер, — говорю я. — Он что, снова запрёт нас?

— Похоже, — говорит мастер.

— Зачем? — спрашиваю я.

Мастер смотрит на малыша.

— Потому что он слышал, — говорит он. — Он слышал, что придут и заберут Ноля. И решил, что если никто не войдёт, то и забрать не смогут.

— А мы? — спрашиваю я.

— А что мы? — говорит мастер.

— Мы сможем выйти? — спрашиваю я.

Мастер молчит.

— Мастер, — говорю я.

— Я не знаю, — говорит он. — В прошлый раз мы не смогли.

Я смотрю на малыша.

Он сидит и держит лапу на печати, и на боку у него белеет ожог, и он даже не поворачивает головы.

— Малыш, — говорю я. — Отпусти.

Он не двигается.

— Малыш, — говорю я. — Если ты закроешь дом, они останутся снаружи. Но мы останемся внутри. И те, кто живёт на берегу, и Мала, и мальчишка с моста.

Малыш смотрит на меня.

И я вижу, что он не понимает.

Он не понимает, что внутри тоже есть люди. Для него внутри это я, Ноль, звери и дом. А люди снаружи это люди снаружи. И он закрывает дом не из злости. Он закрывает его потому, что любит меня, и потому, что боится, и другого способа защитить не знает.

И от этого мне хочется плакать. Не от бессилия. От того, что он делает это для меня.

— Мастер, — говорю я. — Что делать?

— Ждать, — говорит мастер.

— Чего? — спрашиваю я.

— Пока он закончит, — говорит мастер. — Пока он держит печать, его нельзя трогать. Если потянуть, печать разойдётся и тепло уйдёт вниз.

— И что будет?

— Не знаю, — говорит мастер. — Может, ничего. Может, всё.

Он садится рядом со мной.

— Хальд, — говорит он. — А ты не думал, что он прав?

— В чём? — спрашиваю я.

— В том, что дом надо запирать, когда приходят чужие, — говорит мастер. — Может, это мы неправильно живём. Может, надо было запереться ещё в академии, и тогда Орн был бы жив.

Я смотрю на него.

— Орн умер, потому что держал проход, — говорю я. — Он не запирал дверь. Он стоял в ней.

Мастер молчит.

— Это разные вещи, — говорю я.

— Разные, — соглашается он.

Он сидит, и смотрит в пол, и я вижу, что он не спорит со мной, а просто устал. Что он двадцать лет думает об этом и ничего не придумал.

Свет по колонне идёт вниз, и в зале теплеет, и я чувствую, как тепло идёт по полу, как оно поднимается по стене и уходит в потолок.

Малыш сидит неподвижно.

Ноль подходит и ложится рядом с ним, и я вижу, как от Ноля к малышу тянется тонкая нитка тепла, как будто они держатся за руки.

— Мастер, — говорю я.

— Что? — спрашивает он.

— Он не один.

Мастер смотрит на них.

— Не один, — говорит он.

Он встаёт.

— Я пойду наверх, — говорит он. — Предупрежу Керна.

— Скажи, чтобы никто не трогал дверь, — говорю я.

— Скажу, — отвечает мастер. — А ты?

— Я останусь.

Он уходит.

Я сижу у колонны, и малыш сидит рядом, и Ноль лежит у моих ног, и мы втроём смотрим, как тепло уходит вниз, в

камень, в глубину, туда, где его не видно.

Я не знаю, что он делает.

Но я знаю, что утром мы это узнаем.

В дверь стучат.

Не громко. Три раза, коротко, как стучат люди, которые не хотят никого будить.

Я поднимаюсь и иду наверх. Ноги у меня затекли, и я иду, как старик, держась за стену.

В складе темно, и люди спят на ящиках, и кто-то храпит, и от этого храпа мне вдруг становится спокойнее. Керн уже стоит у двери с фонарём, и за поясом у него топор.

— Кто? — спрашиваю я.

— Борн, — говорит Керн. — Один.

Я подхожу к двери. Дверь холодная, и я кладу на неё ладонь и чувствую, как холод идёт в руку.

— Старшина, — говорю я.

— Мастер-сторож, — говорит он из-за двери. — Я не за тем, чтобы входить.

— А за чем? — спрашиваю я.

— Крес готовит печати, — говорит Борн. — Он достал из лодки ящик. Утром он пойдёт к вашему складу.

Я молчу.

— Мастер-сторож, — говорит Борн. — Я не хочу этого.

— Тогда не делайте, — говорю я.

— Я не могу, — говорит он.

— Можете, — говорю я. — Вы старшина.

— Я старшина, — говорит Борн. — У меня двенадцать человек, из них четверо с семьями на севере. Если я скажу «нет», Крес напишет бумагу, и бумага пойдёт туда, где её читают. И тогда моим людям не будет места ни здесь, ни там.

Он говорит это ровно, но в конце голос у него садится, и он замолкает, и я слышу, как он дышит.

Я стою и смотрю в дверь.

— Борн, — говорю я. — А если я сам уеду?

— Поздно, — говорит Борн. — Он уже получил отказ. Теперь ему нужен не мастер, а доказательство, что бумага работает.

— Значит, он заберёт Ноля, чтобы доказать? — спрашиваю я.

— Значит, он заберёт Ноля, чтобы доказать, — говорит Борн.

За дверью тихо. Потом он говорит:

— Мастер-сторож, я скажу вам одну вещь, и потом уйду.

— Скажите, — говорю я.

— Если вы будете драться, — говорит Борн, — мы будем драться с вами. Не потому, что хотим. Потому что мы стоим на одной стороне бумаги.

— А вы не хотите? — спрашиваю я.

— Я хочу домой, — говорит Борн. — У меня там дети, и у них холодные трубы.

Он говорит это, и я слышу, что он говорит не мне. Он говорит это себе, чтобы не сойти с ума.

Я стою и слышу, как он дышит за дверью. Дыхание у него короткое, как у человека, который долго шёл в гору, и я вдруг понимаю, что он стоит тут уже не первую минуту и всё это время собирался сказать.

Он отходит от двери.

— Утром, — говорит он. — Он придёт утром.

Шаги удаляются. Он идёт по мокрым доскам, и доски скрипят, и скрип становится тише, и потом его нет.

Я стою у двери и слушаю.

Керн стоит рядом и держит фонарь, и свет у него дрожит, потому что у него дрожит рука.

И потом я слышу ещё один звук.

Тихий, ровный. Как будто кто-то водит по дереву ниткой.

— Керн, — говорю я.

— Слышу, — отвечает Керн.

— Он уже здесь.

Керн поднимает фонарь и смотрит на дверь. Свет идёт по дереву, и на нём пока ничего нет, но звук идёт, ровный, спокойный, как будто человек знает, что делает.

— Хальд, — говорит Керн. — Если он поставит печать на дверь, мы не выйдем.

— Я знаю, — говорю я.

— И что? — спрашивает Керн.

— И ничего, — говорю я. — Мы не будем выходить.

Керн смотрит на меня.

— А если они войдут? — спрашивает он.

— Тогда мы будем внутри, — говорю я. — А они снаружи. Так лучше, чем наоборот.

Он не отвечает. Он просто стоит и держит фонарь, и я вижу, что он мне верит, и от этого мне страшно.

Я иду вниз, в зал.

Малыш всё ещё сидит у колонны.

Свет идёт по ней вниз, и в зале тепло, и на полу лежат длинные тени.

Я сажусь рядом с ним. Камень под ладонями тёплый, как нагретая печь, и я чувствую, как тепло поднимается по рукам.

— Ладно, — говорю я. — Давай.

И он поднимает голову.

Книга третья. Глава 4. Запертая дверь

Утром я не могу открыть дверь.

Засов идёт на палец и встаёт, как встаёт палец в кольцо, которое мало.

Я тяну сильнее. Он не идёт. Тогда я берусь двумя руками и тяну так, что у меня хрустит в плече, и он всё равно не идёт.

Я стою у двери и смотрю на свои руки.

Ладони красные, и на одной сорвана кожа у большого пальца, и я не помню, когда успел. Руки мелко трясутся, и я сжимаю их в кулаки, чтобы это прекратилось, и не помогает.

Снаружи, за дверью, тихо. Не слышно ни шагов, ни голосов. И от этой тишины у меня начинает мелко трясти, потому что вчера вечером там ходили и разговаривали, а сегодня

как будто никого нет.

— Керн, — говорю я.

Он подходит и пробует сам. Потом берётся двумя руками и упирается ногой в стену. Я вижу, как у него на шее вздувается жила.

Засов не идёт.

— Опять, — говорит он.

— Опять, — говорю я.

Керн отпускает засов и вытирает руки о штаны.

— Окна? — спрашивает он.

— Проверял, — отвечаю я. — Все три.

— Люк? — спрашивает Керн.

— Тоже, — говорю я.

— Дымоход? — спрашивает Керн.

— В дымоходе зверь, — отвечаю я.

Керн смотрит на дверь.

— Значит, — говорит он, — мы в складе, а они снаружи.

— Значит, мы в складе, а они снаружи, — говорю я.

Люди просыпаются и понемногу понимают, что случилось. Я слышу, как кто-то в дальнем углу говорит «опять», и как его переспрашивают, и как он повторяет.

Мала подходит к двери и трогает её рукой, потом отходит и садится на ящик, и лицо у неё делается такое, как в тот день, когда трубы остыли.

— Опять? — спрашивает она.

— Опять, — говорю я.

— Надолго? — спрашивает Мала.

— Не знаю, — отвечаю я.

Она кивает и встаёт.

— Тогда я сварю кашу, — говорит она. — Если сидеть, то лучше сидеть сытыми.

И идёт к печи. И я смотрю ей вслед и думаю, что она сильнее меня, потому что она делает то, что может, а я стою и смотрю на дверь.

Лош подходит ко мне с мелом.

— Хальд, — говорит он. — А считать?

— Что считать? — спрашиваю я.

— Всё, — говорит Лош. — Если мы заперты, то надо знать, сколько у нас еды.

Я смотрю на него.

— Считай, — говорю я.

Он уходит к ящикам и начинает бормотать. И я слышу, как он считает вслух, и как голос у него дрожит, и как он всё равно считает.

Кай подходит к двери и прикладывает ухо.

— Там кто-то ходит, — говорит он.

— Сколько? — спрашиваю я.

— Двое. Может, трое, — отвечает Кай.

— Кто именно? — спрашиваю я.

— Не слышу, — говорит Кай.

Он отходит.

— Хальд, — говорит он. — А если они уйдут?

— Не уйдут, — говорю я.

— Почему? — спрашивает Кай.

— Потому что им нужен Ноль.

Кай смотрит на Ноля, который лежит у печи и не проявляет никакого интереса к происходящему.

— Ему-то хоть бы что, — говорит Кай.

— Ему да.

И я вдруг завидую Нолю так сильно, что мне становится стыдно.

И тогда я понимаю, что мы не заперты. Мы просто стоим в доме, у которого нет выхода, и ждём, когда с нами что-то сделают.

В дверь стучат.

Не так, как стучал Борн ночью. Громко, ровно, три раза, и потом ещё три.

— Мастер-сторож, — говорит голос Креса. — Я знаю, что вы там.

Я подхожу к двери.

— Знаете, — говорю я.

— Откройте, — говорит Крес.

— Не могу, — отвечаю я.

— Можете, — говорит Крес. — Вы просто не хотите.

— Засов не идёт, — говорю я. — Я пробовал.

За дверью молчат.

Потом Крес говорит:

— Отойдите от двери.

Я отхожу.

И слышу, как с той стороны что-то делается: тихое, ровное, как будто по дереву водят ниткой.

Потом дверь начинает трещать.

Не ломаться. Трещать: по дереву идёт тонкая чёрная линия, от ручки вниз, и там, где она проходит, дерево делается серым, как зола.

И пахнет. Не гарью. Пахнет чем-то сухим и древним, как из старого сундука, который открыли после зимы.

Люди отступают от двери. Мала крестится, быстро и мелко, как крестятся те, кто не верит, но на всякий случай. Лош стоит с мелом и смотрит на линию, и я вижу, как у него двигаются губы: он считает.

— Хальд, — говорит Керн.

— Вижу, — отвечаю я.

Линия доходит до половины и останавливается.

С той стороны кто-то ругается.

Потом голос Креса, уже не такой ровный:

— Он держит, — говорит Крес.

— Держит, — соглашаюсь я.

— Мастер-сторож, — говорит Крес. — Я поставил на дверь печать. Она не снимается изнутри.

— Я вижу, — говорю я.

— Через сутки она пройдёт насквозь, — говорит Крес. — И тогда дверь откроется сама. Вместе со стеной.

Я смотрю на чёрную линию.

— Крес, — говорю я. — А если вы её снимете?

— Тогда я сниму её и поставлю заново, — говорит он. — Это ничего не меняет.

За дверью тихо.

— Мастер-сторож, — говорит Крес. — У вас сутки. Потом я войду.

Я стою у двери и слушаю, как шаги удаляются.

И когда они удаляются, я чувствую, как у меня подгибаются ноги, и сажусь на ящик, и сижу, и смотрю в пол, и ничего не делаю, и это продолжается довольно долго.

Керн подходит и смотрит на линию.

— Сутки, — говорит он.

— Сутки, — повторяю я.

— И что мы будем делать? — спрашивает Керн.

Я смотрю на зал, где сидит малыш.

— Сначала, — говорю я, — надо понять, кто из нас заперт.

Керн хмурится.

— То есть? — спрашивает он.

— То есть я ещё не решил, — говорю я, — чего я боюсь больше: того, что они войдут, или того, что мы не выйдем.

Мастер приходит к двери и садится перед ней на корточки.

Он смотрит на чёрную линию долго. Потом поднимает руку и трогает её пальцами, и я вижу, как он отдёргивает руку.

— Мастер, — говорю я.

— Отойди, — говорит он.

Я отхожу.

Он достаёт клещи и берётся за линию.

И его отбрасывает.

Не сильно. Его отбрасывает так, как отбрасывает, когда дёргаешь верёвку, которую держит кто-то с той стороны: он садится на пол, клещи падают, и рука у него висит.

— Мастер!

— Не подходи, — говорит он сквозь зубы.

Он поднимается и трясёт рукой. Я вижу, как у него на руке от пальцев до локтя кожа делается белой, как бумага, и как он сжимает и разжимает кулак, и как лицо у него мокрое.

— Мастер, — говорю я. — Что с рукой?

— Ничего, — говорит он. — Пройдёт.

— Она белая, — говорю я.

— Она всегда белая, — отвечает мастер. — Просто ты не смотрел.

Он поднимает клещи.

— Это не печать, — говорит он. — Это узел на крови. Он держится за того, кто его ставил.

Он говорит это сухо, и я вижу, как клещи дрожат у него в руке, и как он этого не замечает.

— То есть его нельзя снять? — спрашиваю я.

— Можно, — говорит мастер. — Но не мне.

Он смотрит на свою белую руку и говорит тихо, как будто самому себе:

— Он ставил её на человека. Я так не умею.

Лира подходит с книгой. Она открывает её на закладке, и я вижу, что у неё тоже дрожат руки, и от этого мне становится ещё хуже.

— Здесь есть, — говорит она.

— Что там? — спрашиваю я.

— «Печать, положенная на дом, снимается хозяином дома», — читает Лира. — «Или тем, кому дом служит».

Она поднимает глаза.

— Хозяин — малыш, — говорит она.

Все смотрят на дверь в стене.

Я иду вниз.

В зале тепло и тихо. Свет идёт по колонне вниз, ровный, и малыш сидит у подножия, и лапа у него на печати.

Он сидит так уже второй день. Я вижу, что он устал. Я вижу это по тому, как у него дрожит бок.

Я кладу руку ему на спину и чувствую под ладонью, как внутри что-то работает, ровно и тяжело, как работает насос, и как от этой работы он делается горячее.

— Малыш, — говорю я.

Он поднимает голову.

— Ты можешь снять то, что он поставил на дверь, — говорю я. — Ты хозяин дома.

Он смотрит на меня.

— Ты меня понимаешь? — спрашиваю я. — На двери печать. Ты можешь её снять.

Он не двигается.

— Малыш.

Он опускает голову.

Я сажусь рядом. И только когда я сажусь, я понимаю, что пол ледяной, совсем не тёплый, и что тепло идёт не от пола, а из малыша, и что он весь день сидит на холоде и отдаёт своё.

— Слушай, — говорю я. — Ты запер дом, чтобы они не вошли. Я понимаю. Это правильно. — Я смотрю на его ожог. — Но, если ты не снимешь печать, через сутки они войдут всё равно. Только тогда они войдут в дырку в стене, и тогда будет драка, и кто-нибудь умрёт.

Малыш смотрит на колонну.

— А если ты снимешь, — говорю я, — то я выйду и поговорю с ним. Без драки.

Он поворачивает голову.

И я вижу, что он не понимает слова «поговорю».

Он понимает «выйду».

— Я вернусь, — говорю я.

Он смотрит.

— Я вернусь, — повторяю я. — Я всегда возвращаюсь.

Он долго смотрит на меня.

И я думаю: а что, если я вру? Что, если однажды я не вернусь? Он ведь поверит. Он поверит мне сейчас, и снимет печать, и откроет дверь, и тогда всё будет на мне.

— Я вернусь, — говорю я третий раз, и на этот раз я говорю это не ему, а себе.

Он встаёт и идёт к лестнице.

Я иду за ним.

Наверху он подходит к двери и кладёт лапу на чёрную линию.

И линия гаснет.

Не сразу: она сначала светлеет, потом делается серой, потом её нет, и дерево на двери опять чистое, как будто ничего не было.

Малыш убирает лапу и стоит, и я вижу, что он качается.

Я беру его за плечо, и он опирается на меня, и мне вдруг становится страшно от того, какой он тяжёлый. Он никогда не был таким тяжёлым.

Керн подходит и тянет засов.

Он идёт.

— Открывается, — говорит он.

— Открывается, — говорю я.

И вдруг понимаю, что не знаю, что сказать Кресу.

Я стою у двери и держусь за засов. Засов холодный, и руки не хотят его отпускать.

— Хальд, — говорит Керн.

— Сейчас, — говорю я.

— Он ждёт снаружи, — говорит Керн.

— Я знаю, — отвечаю я.

Я открываю дверь.

Крес стоит на пристани. За ним Борн и ещё четверо, и у Борна в руках сеть, и он держит её так, как держат вещь,

которую не хотят использовать.

Утро холодное, и с реки идёт ветер, и вода бьётся о сваи. Крес стоит без шапки, и у него мокрые волосы, и он смотрит на меня так, как смотрят на человека, которого давно ждут.

— Мастер-сторож, — говорит Крес.

— Крес, — говорю я. — Я поеду.

Он молчит.

И я жду, что он скажет что-нибудь. Что он обрадуется, что он поблагодарит, что он начнёт торговаться. Он не делает ничего.

— С одним условием, — говорю я. — Я поеду сам, с Нолем, и дом не тронут.

Крес смотрит на меня.

— Хорошо, — говорит он.

— И ещё одно, — говорю я. — Я возьму с собой тех, кого выберу.

— Хорошо, — говорит он.

Он говорит это слишком быстро. Так быстро, что у меня внутри что-то обрывается.

— Крес, — говорю я. — Почему вы согласились так быстро?

Он смотрит на дверь у меня за спиной.

— Потому что вы согласились, — говорит он. — А это всё, что мне было нужно.

И я стою и думаю: а что, если бы я не согласился? Что, если бы я стоял на своём? Он бы ждал. Он бы ставил печа-

ти. Он бы вошёл. Но он бы не получил того, что хотел. А я согласился, и теперь он получил всё.

Борн отводит глаза.

Он стоит и держит сеть, и я вижу, как он перебирает её пальцами, хотя сеть сухая и чинить в ней нечего. Ему стыдно, и от его стыда мне делается легче и хуже: легче потому, что он человек, хуже потому, что он всё равно сделает то, что ему велят.

Я возвращаюсь в склад и говорю своим.

Мы собираемся в проходе между ящиками, и людей больше, чем было утром: те, кто ночевал на берегу, пришли, когда дверь открылась, и теперь стоят у стен и слушают. Кто-то держит ребёнка, кто-то сумку.

В складе пахнет кашей и мокрой шерстью, и от этого запаха мне вдруг делается до боли ясно, что я сейчас всё это оставлю: и кашу, и шерсть, и людей, которые стоят и ждут, что я скажу.

— Я уезжаю, — говорю я. — На север. На месяц, может, на два.

В складе тихо. Так тихо, что слышно, как Мала мешает в котле.

— А мы? — спрашивает Мала.

— Вы остаётесь, — говорю я. — Дом остаётся. Яйца остаются. Кай остаётся за меня.

Мала смотрит на меня.

— А если вы не вернётесь?

— Вернусь, — говорю я.

— Так все говорят, — говорит Мала. — Мой муж тоже так говорил.

Она отворачивается и идёт к печи, и я слышу, как она начинает мешать громче, чем нужно.

Я стою и смотрю ей в спину. Она маленькая и вся какая-то сухая, и руки у неё в муке, и она мешает так, будто от того, как она мешает, что-то зависит.

Тирк подходит, прижимая яйцо к груди.

— Мастер-сторож, — говорит он.

— Что, Тирк?

— А если они вернутся, когда вас не будет? — спрашивает Тирк.

— Они уедут со мной, — отвечаю я.

— Все? — спрашивает Тирк.

Я смотрю на него.

— Не все, — говорю я. — Кто-то останется.

Тирк смотрит на дверь.

— Тогда я пойду домой, — говорит он. — У меня дом холодный, но свой.

— Иди, — говорю я. — Только яйцо не отдавай.

— Не отдам, — говорит Тирк.

Он уходит, и за ним уходят ещё двое. И я смотрю им вслед и не говорю ни слова, потому что не имею права их держать.

Хорн подходит с папкой.

— Мастер-сторож, — говорит Хорн. — Дорога на север

— это расходы.

— Я знаю, — отвечаю я.

— Сколько вас будет? — спрашивает Хорн.

— Пока не знаю, — говорю я. — Трое, может, четверо.

— Тогда я впишу в смету, — говорит Хорн. — Провизия, тёплые вещи, корм для зверя. — Он поднимает голову. — И ещё я впишу, что вы едете не по своей воле.

— Это зачем? — спрашиваю я.

— Затем, что если вы не вернётесь, — говорит Хорн, — в бумагах должно быть написано, что вас забрали, а не что вы сбежали.

Он говорит это ровно, но у него дрожит кончик пера, и он это видит и прижимает перо к папке.

— Хорн, — говорю я.

— Что? — спрашивает он.

— Спасибо, — говорю я.

Он смотрит на меня.

— Не за что, — говорит он. — Это смета.

И уходит.

Керн подходит последним.

— Хальд, — говорит Керн.

— Что? — спрашиваю я.

— Я не поеду, — говорит он.

— Я знаю, — отвечаю я.

— Кто-то должен держать дом, — говорит он. — Кай хороший, но он вор. Он не умеет стоять.

— Он научится.

— Может, — говорит Керн. — А может, нет. — Он смотрит на меня. — Я останусь.

— Хорошо.

— И ещё, — говорит он. — Я не верю этому мастеру.

— Я тоже, — говорю я.

— Тогда зачем ты едешь? — спрашивает Керн.

Я смотрю на Ноля.

— Потому что, если я не поеду, — говорю я, — они придут сюда. А здесь дети, яйца и триста человек, которые не умеют драться.

Керн молчит.

— Хорошо, — говорит он. — Тогда я хотя бы расставлю людей.

Он уходит, и я остаюсь стоять в проходе между ящиками, и люди расходятся вокруг меня, и никто не смотрит мне в глаза.

Ночью я сижу у печи и не сплю.

В складе тихо, и огонь уже погас, и только угли краснеют, и от них идёт слабое тепло. Ноль лежит рядом, и я держу руку у него на боку, и чувствую, как под чешуёй что-то медленно ворочается.

Ко мне подходит Кай.

Он садится рядом на корточки и говорит тихо:

— Хальд, — говорит Кай.

— Что? — спрашиваю я.

— Я не буду тебя ждать, — говорит он.

Я смотрю на него.

— Я серьёзно, — говорит Кай. — Я не умею ждать. Я пробовал. Я сижу и считаю дни, а потом начинаю думать, что ты не вернёшься, и тогда я делаю глупости.

— Какие глупости? — спрашиваю я.

— Разные, — отвечает Кай. — Один раз я сжёг дом.

— Ты сжёг дом? — переспрашиваю я.

— Не весь, — говорит Кай. — Сарай.

Я смотрю на него.

И я вижу, что он не хвастается. У него лицо человека, который признаётся в чём-то, чего ему стыдно.

— Это было давно? — спрашиваю я.

— Мне было двенадцать, — говорит Кай. — Меня оставили одного. Не потому, что хотели. Просто так вышло. И я сидел в этом сарае и ждал, и ждал, и потом взял свечу.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Не знаю, — отвечает Кай. — Чтобы что-то случилось.

Он смотрит на угли.

— Я тогда понял, что не умею ждать, — говорит он. — Я умею бежать, умею прятаться, умею считать. А ждать не умею.

— Кай, — говорю я. — Я вернусь.

— Я знаю, — говорит он. — Я не про тебя. Я про себя.

Он встаёт.

— Я останусь здесь, — говорит он. — Я буду считать яйца

и держать склад. Но если через месяц тебя не будет, я пойду за тобой.

— Хорошо, — говорю я.

— И тогда я сожгу не сарай, — говорит Кай. — Я сожгу что-нибудь побольше.

Он говорит это серьёзно, и я не смеюсь, потому что вижу, что он не шутит.

Он уходит, и у меня в горле стоит комок, потому что я понимаю, что он сейчас сказал мне не про пожар. Он сказал мне, что если я не вернусь, ему будет нечего беречь.

Я сижу у печи, и Ноль лежит рядом, и я слышу, как в складе дышат люди: те, кто остаётся, и те, кто пойдёт со мной, и те, кто ещё не решил.

И я думаю о том, что все они сейчас спят, и что каждый из них завтра проснётся и узнает, что я уезжаю. И что кто-то из них обрадуется. И что это будет самое честное, что я о них узнаю.

Утром я иду к Кресу и говорю:

— Я поеду.

— Я знаю, — говорит Крес.

— И со мной поедут двое.

— Кто? — спрашивает Крес.

— Гром и Лира.

Крес смотрит на них, которые стоят у лодок. Гром держит камень, а Лира сумку, и они стоят так, как стоят люди, которые уже всё решили и ждут, когда их отпустят.

— Хорошо, — говорит он.

— И Ноль.

— Ноль едет обязательно.

— И склад не трогают, — говорю я. — Пока меня нет, в склад никто не входит.

Крес молчит. Он стоит и смотрит в воду, и я вижу, как он думает.

— Крес, — говорю я.

— Я не могу этого обещать, — отвечает он. — Я не один.

— А кто ещё? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня.

— Тот, кто подписал бумагу, — говорит он. — Я только мастер. Бумага не моя.

Я стою и смотрю на него.

— Крес, — говорю я. — А вы его видели?

— Кого? — спрашивает Крес.

— Того, кто подписал, — говорю я.

Крес долго молчит.

— Один раз, — говорит он. — Он приезжал на север. Не в гнездо. Вниз, к печати. Он стоял и смотрел на неё, и я стоял рядом, и он спросил меня, сколько она ещё продержится.

— И что вы сказали? — спрашиваю я.

— Я сказал «год», — говорит Крес. — А он сказал: «Нет. Двадцать».

Я смотрю на него.

— И вы не спросили почему? — спрашиваю я.

— Спросил, — говорит Крес. — Он сказал: «Потому что через двадцать лет его некому будет спросить».

Он поворачивается и идёт к своим.

— Мастер-сторож, — говорит он на ходу. — Собирайтесь. Мы выходим через два дня.

Грома и Лиру я нахожу за складом.

Гром сидит на чурбаке и точит камень. Он точит его медленно, ровными движениями, и от камня идёт тонкий скрип. Лира сидит рядом на ящике и перебирает сумку: бинты, склянки, книга.

— Мы едем, — говорю я.

Гром поднимает голову.

— Когда? — спрашивает он.

— Через два дня, — отвечаю я.

Он кивает и продолжает точить.

— Ты не спросишь куда?

— Куда? — говорит Гром.

— На север. К ним.

— А, — говорит он. — Ну да.

Он точит камень дальше, и я вижу, что он не притворяется. Ему всё равно, куда ехать. Ему важно, что ехать.

Лира закрывает сумку.

— Хальд, — говорит она.

— Что? — спрашиваю я.

— Я боюсь, — говорит Лира.

Гром перестаёт точить.

— Я тоже, — говорю я.

— Нет, — говорит Лира. — Ты боишься по-другому. Ты боишься, что не справишься. А я боюсь, что меня там убьют.

Она говорит это ровно, и от этой ровности мне делается хуже, чем от крика.

— Лира, — говорю я. — Ты можешь не ехать.

— Могу, — соглашается она.

— Я серьёзно, — говорю я.

— Я знаю, — отвечает Лира. — Я и говорю серьёзно. Я могу не ехать и остаться здесь, и буду целый год думать, что вы там без меня делаете.

Она поднимает сумку.

— Я поеду, — говорит она. — Но я хочу, чтобы ты знал: я боюсь.

— Я знаю, — говорю я.

— И чтобы ты не делал вид, что всё хорошо, — говорит Лира. — Когда там будет плохо, не надо мне говорить «всё хорошо». Я всё равно увижу.

Гром встаёт.

— Она права, — говорит он. — Ты так делаешь.

— Я так не делаю, — говорю я.

— Делаешь, — говорит Гром. — Ты всё время делаешь лицо, как будто у тебя всё под контролем.

— А что мне делать лицо? — спрашиваю я.

— Ничего, — говорит Гром. — Просто не надо.

Он кладёт камень в карман.

— Когда выходим? — спрашивает он.

— Утром, через два дня.

— Тогда я пойду посплю, — говорит он. — Дорога длинная.

И уходит. Просто уходит, как будто мы договорились о чём-то простом.

Я смотрю ему вслед. Гром никогда не спрашивает «зачем». Он спрашивает «когда». И от этого с ним легко и страшно одновременно.

Лира смотрит ему вслед.

— Ему легко, — говорит она.

— Ему не легко, — говорю я. — Он просто умеет не показывать.

— Тогда почему ты не умеешь? — спрашивает она.

И уходит, не дожидаясь ответа.

Ночью я иду к лодкам.

Над рекой туман, и вода чёрная, и у берега пахнет смолой и тиной. Лодки стоят рядами, и между ними хлюпает, и от этого звука кажется, что кто-то ходит по воде.

Ланн сидит на корме и чинит фонарь. Он разобрал его на части и раскладывает их на доске: стекло, фитиль, железная пластина. Руки у него быстрые и точные, и он не смотрит на них, а смотрит на воду.

От воды тянет холодом, и туман стоит над ней так густо, что дальний берег не виден совсем. Где-то под досками плещет рыба, и от этого плеска кажется, что лодки дышат.

— Мастер-сторож, — говорит он, не поднимая головы.

— Ланн, — отвечаю я.

— Вы пришли спросить, кто я, — говорит Ланн.

— Я пришёл спросить, что вы делаете, — говорю я.

— Чиню фонарь, — отвечает он.

— Он был целый, — говорю я.

— Был, — соглашается Ланн. — Но, если его не чинить, он гаснет в самый нужный момент.

Он собирает фонарь и зажигает. Огонь идёт ровно, и в нём видно, как у Ланна дрожат пальцы. Он тоже не спал.

— Садитесь, — говорит он.

Я сажусь на борт. Доска холодная, и я чувствую через штаны, как она мокрая.

— Ланн, — говорю я. — Вы не возчик.

— Нет, — говорит Ланн.

— Кто вы? — спрашиваю я.

Он смотрит на огонь.

— Я пишу, — говорит он. — Я служу в канцелярии. Я составляю бумаги, которые потом подписывают.

— Какие бумаги? — спрашиваю я.

— Разные, — говорит Ланн. — В основном те, где надо написать так, чтобы человек сделал то, что нужно, и при этом думал, что решил сам.

Он поднимает глаза.

— Вот как с вами, — говорит он. — Вам не приказывали ехать. Вам дали бумагу, показали умирающее гнездо, дали

мастера, который не умеет слышать, и подождали. И вы решили сами.

Я смотрю на него. И чувствую, как у меня холодеет внутри, потому что он прав: я решил сам. Я сам подписал договор, сам сказал «я поеду», сам стоял на пристани и говорил Кресу «хорошо».

— Это была ваша работа? — спрашиваю я.

— Это была моя работа, — говорит Ланн.

— И зачем? — спрашиваю я.

— Затем, что вас надо было привезти на север, — говорит он. — Живым и по своей воле.

— Зачем? — спрашиваю я.

Ланн молчит.

— Ланн, — говорю я.

— Вам сказали, что гнездо умирает, — говорит он. — Это правда. Вам сказали, что внизу спит то, что держит тепло. Это тоже правда.

— А что неправда? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня.

— Неправда, — говорит Ланн, — что вас везут его лечить.

Вода бьётся о борт. Доска подо мной качается.

— А зачем? — спрашиваю я.

— Затем, что его надо открыть, — говорит Ланн. — И вы единственный, кто может это сделать так, чтобы он не проснулся злым.

— Кому это надо? — спрашиваю я.

— Тому, кто подписал, — отвечает Ланн.

— Кто он? — спрашиваю я.

Ланн смотрит на огонь. И я вижу, что он не хочет говорить. Не потому, что боится. Потому что ему стыдно.

— Я видел его один раз, — говорит он. — У него нет лица, которое запоминается. Он сидел за столом и подписывал. Я стоял рядом и держал бумаги.

— И что он сказал? — спрашиваю я.

— Он сказал: «Найди того, кто умеет слышать», — говорит Ланн. — И всё.

— А вы? — спрашиваю я.

— А я спросил: «Зачем?» — говорит Ланн. — И он ответил: «Затем, что через двадцать лет кто-то должен это закончить».

Он гасит фонарь. И в темноте его голос звучит совсем близко.

— Мастер-сторож, — говорит он. — Я не знаю, что он задумал. Но я знаю одно: он не отступает. Если он написал на север, значит, он хочет, чтобы это было открыто.

— А вы? — спрашиваю я.

— А я, — говорит Ланн, — хочу посмотреть, что будет, когда откроют.

Он встаёт.

— Спокойной ночи, — говорит он.

— Ланн, — говорю я.

Он оборачивается.

— Вы сказали, что вы пишете бумаги, — говорю я. — А вы не боитесь, что однажды напишете бумагу про себя?

— Боюсь, — говорит Ланн. — Поэтому я и поехал.

Он уходит к шатрам. Идёт он по мокрым доскам, и доски скрипят, и звук уходит в туман.

Я сижу на борту и смотрю на воду.

Итак, меня не везут спасать гнездо.

Меня везут открыть то, что внизу.

И тот, кто это придумал, сидит где-то в столице за столом и подписывает бумаги, у которых нет подписи.

И самое страшное не то, что он меня обманул. Самое страшное, что он, скорее всего, прав: если печать трескается и тепло уходит, то кто-то должен это открыть. И этот кто-то — я.

Я встаю и иду в склад.

Доски под ногами мокрые, и туман идёт за мной до самой двери, и в нём тонут шатры и лодки. Я оглядываюсь один раз: на корме кто-то сидит, и доска под ним поскрипывает, и больше ничего не слышно.

Малыш сидит у двери в стене и смотрит на меня.

— Ладно, — говорю я. — Значит, поедем и посмотрим.

Книга третья. Глава 5. Условия

Договор составляют на пристани, за ящиком, который мы поставили вместо стола.

Утро холодное, и на ящике лежит иней, и Хорн сначала вытирает его рукавом, а потом уже раскладывает бумагу.

Ветер с реки идёт ровный и холодный, и бумага на ящике шевелится, и Хорн прижимает её локтем. Пальцы у него красные, и он дышит на них, а потом берётся за перо, и перо в его руке дрожит, и он это видит и сжимает крепче.

Он приносит бумагу, перья и чернильницу, и он раскладывает это на ящике так, как раскладывают инструменты хирурги: нож, нитку, иглу.

— Итак, — говорит Хорн. — Стороны.

— Мастер-сторож склада четыре, — говорю я.

— И северное гнездо, — говорит Крес.

— Северное гнездо, — говорит Хорн и пишет. — В лице старшины Борна?

— В моём лице, — говорит Крес. — Борн старшина. Я мастер.

— А мастер — это сторона? — спрашивает Хорн.

— Мастер это тот, кто подписывает, — говорит Крес.

Хорн поднимает голову.

— В моей практике подписывает тот, кто отвечает деньгами, — говорит он.

— В моей практике подписывает тот, кто отвечает печатью, — говорит Крес.

Они смотрят друг на друга. И я вижу, что они узнали друг друга, как узнают люди одной породы: оба считают, оба знают цену словам, оба не любят тех, кто говорит красиво.

— Хорошо, — говорит Хорн. — Впишем обоих.

Он пишет.

Ланн стоит в стороне и держит перо, и я замечаю, что он держит его так, как держат перо люди, которые пишут каждый день: не за середину, а у самого кончика.

— Вы будете писать? — спрашивает его Хорн.

— Если позволите, — говорит Ланн.

— Позволю, — отвечает Хорн. — Мне нужен второй экземпляр.

Ланн садится рядом, и они начинают.

Это продолжается три часа.

Свет меняется: сначала он серый, потом в нём появляется жёлтое, потом солнце уходит за тучу, и всё опять серое. Кто-то приносит кружку, и она стынет, и никто её не пьёт.

Я не знал, что договор — это так долго. Я думал, что это когда двое говорят «да» и жмут руки. Оказывается, это когда двое говорят «да», а потом ещё трое пишут, что именно они сказали, и в каких случаях это «да» перестаёт быть «да».

Я сижу на бочке, и у меня затекает нога, и я не могу встать, потому что если я встану, то будет видно, что мне всё это не нравится.

— Пункт первый, — говорит Хорн. — Мастер-сторож Рен Хальд едет на север в сопровождении зверя Ноля, кузнеца Грома и травницы Лиры.

— Не «травницы», — говорит Лира.

— А кто вы? — спрашивает Хорн.

— Я учусь, — отвечает Лира.

— Тогда «ученицы»? — спрашивает Хорн.

— Пишите «Лира», — говорит Лира. — Без должности.

Хорн пишет.

— Пункт второй, — говорит он. — Склад четыре на время отсутствия мастера-сторожа остаётся в городе и передаётся Каю.

— Какому Каю? — спрашивает Хорн.

— Вору, — говорит Кай, который сидит на бочке неподалёку и делает вид, что не слушает.

— Профессия, — говорит Хорн и пишет. — «Каю, вору».

— Не пишите «вору», — говорит Керн.

— Почему? — спрашивает Хорн.

— Потому что это бумага, — говорит Керн. — Её будут читать.

— Хорошо, — говорит Хорн. — «Каю, старшему по складу».

Кай хмыкает. Но я вижу, что он услышал, и что «старшему по складу» ему понравилось больше, чем он хочет показать.

— Пункт третий, — говорит Хорн. — Северяне не входят в склад, не считают яйца, не трогают зверей и не ставят печатей на стены и двери.

— Хорошо, — говорит Крес.

— Это надо сказать вслух для второго экземпляра, — говорит Хорн.

— Хорошо, — говорит Крес. — Я согласен.

Хорн пишет оба экземпляра. Он пишет быстро, и у него уже болит рука, и он трясёт ею под столом.

— Ещё корм, — говорит он, не поднимая головы.

— Какой корм? — спрашиваю я.

— Для зверя, — говорит Хорн. — Он что ест?

— Рыбу, — отвечаю я.

— Сколько? — спрашивает Хорн.

— Много, — говорю я.

— Сколько в день? — спрашивает Хорн.

Я смотрю на Ноля, который лежит у пристани и не проявляет никакого интереса к нашим бумагам.

— Ведро, — говорю я.

— Ведро, — говорит Хорн и пишет. — Чьё ведро? У них какое ведро? — Он поднимает голову.

Крес пожимает плечами.

— Обычное, — говорит он.

— Значит, «ведро», — говорит Хорн. — Без размера. — Он поднимает голову. — Если он сожрёт у них две недели корма за три дня, я не отвечаю.

— Он не сожрёт, — говорю я.

— Он зверь, — говорит Хорн. — Звери едят.

Крес смотрит на Ноля и говорит, не поворачивая головы:

— Он ест, когда хочет. Потом может не есть три дня.

— И что тогда? — спрашивает Хорн.

— Тогда он спит, — говорит Крес.

— Хорошо, — говорит Хорн. — Тогда я напишу «по потребности». Это лучше, чем «ведро».

Он пишет «по потребности» и вычёркивает «ведро».

— Пункт четвёртый, — говорит он. — Срок: до первого льда или одна луна, что наступит раньше.

— До первого льда, — говорит Крес.

— Одна луна, — говорю я.

Мы смотрим друг на друга.

— Полторы, — говорит Крес.

— Одна луна и десять дней, — говорю я.

— Согласен, — говорит Крес.

— И зверь едет на моей лодке, — говорит Крес.

— Почему на вашей? — спрашиваю я.

— Потому что на вашей он не поместится, — говорит Крес. — И потому что я за него отвечаю.

— Он не даст себя привязать, — говорю я.

— Я не буду его привязывать, — говорит Крес. — Я не вор.

Хорн поднимает голову.

— Это тоже впишем, — говорит он. — «Зверь следует без привязи».

— Зачем? — спрашиваю я.

— Затем, что если он кого-нибудь съест, — говорит Хорн, — в бумаге должно быть написано, что мы его не привязывали.

Крес смотрит на него.

— Вы странный человек, — говорит он.

— Я точный, — говорит Хорн.

Хорн пишет.

— Пункт пятый, — говорит он. — Если мастер-сторож не вернётся в срок, северяне возвращают в город его зверя и его людей и выплачивают городу стоимость содержания.

Крес молчит.

— Это обязательный пункт, — говорит Хорн.

— Я не могу его подписать, — говорит Крес. — Если мастер не вернётся, зверь не вернётся тоже.

— Почему?

— Потому что без мастера его некому вести, — говорит Крес.

Хорн смотрит на меня.

— Хальд, — говорит он.

— Пишите, — говорю я.

— Что писать? — спрашивает Хорн.

— Пишите, что я вернусь, — говорю я.

Хорн пишет. И я вижу, как у него дрожит рука, и как он делает вид, что это от холода.

Ланн пишет быстрее. Он пишет ровно, без помарок, и его буквы идут как солдаты.

— Пункт шестой, — говорит он, не поднимая головы. — По прибытии мастер-сторож передаёт старшине северного гнезда ключ от склада четыре.

Я поднимаю голову.

— Что? — спрашиваю я.

Ланн поднимает глаза.

— Это условие канцелярии, — говорит он. — Бумага о

передаче склада была подписана ещё до вашего согласия.

— Склада? — переспрашиваю я.

— Склада, — говорит Ланн. — Не зверя. Склад передаётся северу.

Я смотрю на него.

— А зачем вам склад? — спрашиваю я.

— Затем, что на него есть бумага, — говорит Ланн. — А на зверя бумаги нет.

Хорн медленно кладёт перо.

— Господа, — говорит он. — Мы составляем договор о проезде. При чём здесь передача склада?

— При том, что это одно и то же, — говорит Ланн. — Мастер не переедет без дома. А дом не перейдёт без мастера.

— Это софизм, — говорит Хорн.

— Это канцелярия, — говорит Ланн.

Крес сидит и смотрит в бумагу.

— Крес, — говорю я. — Вы знали про этот пункт?

— Знал, — говорит он.

— И молчали? — спрашиваю я.

— Я мастер, — говорит он. — Я не читаю бумаги. Я ставлю на них печати.

Хорн захлопывает папку.

— Хальд, — говорит Хорн. — Не подписывайте.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что вы отдаёте дом, — говорит Хорн. — Вы уедете, а вернётесь в чужой склад.

Я смотрю на Ланна.

— Ланн, — говорю я. — А если я не подпишу?

— Тогда я не смогу сказать, что вы поехали по своей воле, — говорит он. — А это значит, что вас повезут.

— Как повезут?

— Как повезут, — говорит Ланн.

Крес поднимает голову.

— Мастер-сторож, — говорит Крес. — Я не хочу этого.

— Чего? — спрашиваю я.

— Второго варианта, — говорит он. — В первом варианте вы едете сами и возвращаетесь. Во втором вас везут, и тогда я не отвечаю ни за что.

Я сижу и смотрю на бумагу. Бумага белая, и на ней уже много строк, и внизу пустое место, где надо подписать.

И я думаю: а что, если не подписывать? Что, если встать и уйти? Тогда меня повезут, и будет драка, и кто-нибудь умрёт. А если подписать, то я отдам дом, но дом останется цел.

Я беру перо.

— Хальд, — говорит Хорн.

— Я знаю, — отвечаю я.

— Вы отдаёте дом.

— Я знаю, — говорю я и подписываю.

Хорн стоит и молчит.

Крес ставит на бумагу узел: он берёт нитку и вяжет её прямо на листе, ловко, как вяжут люди, которые делают это каждый день, и узел ложится в угол, и там, где он лёг, бумага

делается плотнее.

— Это подпись? — спрашивает Хорн.

— Это подпись, — говорит Крес.

— Это узел, — говорит Хорн.

— Это наша подпись, — отвечает Крес.

Хорн смотрит на него. Потом достаёт перо и ставит рядом узел и крест.

— Пусть будет оба, — говорит он. — Если вы потом скажете, что это не подпись, я покажу вам крест.

Крес смотрит на крест.

— Хорошо, — говорит он.

Ланн ставит на бумагу маленькую печать канцелярии, и печать ложится ровно, как ложится всё, что он делает.

Хорн берёт второй экземпляр.

— Хальд, — говорит Хорн, когда мы отходим.

— Что? — спрашиваю я.

— Вы читали, что подписали? — спрашивает он.

— Нет, — отвечаю я.

Хорн смотрит на меня.

— Зря, — говорит он.

Вечером я зову Кая вниз.

Он спускается неохотно, и на каждой ступеньке останавливается, как будто надеется, что я передумаю и позову его обратно.

— Я не хочу, — говорит он.

— Что не хочешь? — спрашиваю я.

— Быть старшим, — говорит Кай. — Я вор.

— Ты вор, который считает яйца.

— Это не делает меня старшим.

— Делает, — говорю я. — Старший это тот, кто считает.

Мы стоим в зале, и колонна светится, и малыш сидит у подножия, и он смотрит на нас, и я вижу, что он слушает.

Свет сегодня тусклый, и в зале холодно, и от холода у меня стынут пальцы.

— Кай, — говорю я. — Смотри.

Я подхожу к малышу и кладу руку ему на голову. Голова у него тёплая, и чешуя под ладонью чуть шевелится.

— Это Кай, — говорю я. — Когда меня не будет, он будет за меня.

Малыш смотрит на Кая.

Кай делает шаг вперёд.

Малыш встаёт.

Он не рычит. Он просто встаёт и становится так, чтобы между Каем и колонной было его тело.

Кай отступает на полшага, и я вижу, как у него меняется лицо: не от страха, а от того, что он вдруг понял, что его здесь не ждали и не ждут.

Кай останавливается.

— Хальд, — говорит Кай.

— Я вижу, — отвечаю я.

— Он меня не пускает, — говорит Кай.

— Пока не пускает, — говорю я.

— Он меня не пустит, — говорит Кай. — Он меня не знает. Он знает тебя. Он тебя слушается, а меня он не будет.

И в его голосе я слышу не обиду, а что-то другое. Он боится. Он всю жизнь был никому не нужен, и научился с этим жить, а теперь ему говорят, что он кому-то нужен, и он этому не верит.

Я сажусь на колени перед малышом.

— Малыш, — говорю я. — Я уезжаю.

Он смотрит на меня.

— Я вернусь, — говорю я. — Но пока меня не будет, дом остаётся на Кая. Понимаешь? Дом на Кая.

Малыш поворачивает голову к Каю.

И я вижу, что он не понимает.

Он не понимает, как дом может быть на кого-то другого. Для него дом это я. Я это дом. Кай — это Кай.

— Малыш, — говорю я. — Если ты его не пустишь, кто будет кормить Ноля?

Он смотрит на Ноля.

— Кто будет считать яйца? — говорю я. — Кто будет следить, чтобы Тирк не унёс их в холод?

Малыш смотрит на меня. И я вижу, как он думает. Как он перебирает то, что я сказал, и не находит места, куда это положить.

— Я вернусь, — говорю я. — Но пока я не вернулся, это Кай.

Малыш долго молчит.

А потом отходит в сторону.

Не далеко. На шаг. Но отходит.

Кай подходит к колонне и стоит рядом с ней, и у него лицо такое, как будто он только что перешёл реку по льду.

Он стоит и не дышит, и я вижу, как у него на спине вздрагивают лопатки, и как он всё-таки не отступает.

— Спасибо, — говорит он.

Малыш не отвечает.

— Он тебе не друг, — говорю я. — Он тебе хозяин.

— Это хуже, — говорит Кай.

— Это дольше, — говорю я. — Друзья кончаются. Хозяева остаются.

Кай смотрит на малыша, и я вижу, что он боится, и что он всё равно стоит.

— Ладно, — говорит он. — Я буду хозяином.

Он выпрямляется. И я вдруг вижу, что он стал выше. Не потому, что вырос, а потому, что перестал сутулиться.

— Только ты вернись, — говорит он. — Потому что, если ты не вернёшься, я буду хозяином навсегда, а я не хочу.

— Хорошо, — говорю я.

— Я серьёзно, Хальд, — говорит Кай.

— Я знаю, — отвечаю я.

Мы поднимаемся наверх. Я иду первым, и слышу, как он идёт за мной, и как он всё время оглядывается.

У лестницы Кай останавливается.

— Хальд, — говорит он.

— Что? — спрашиваю я.

— А что мне делать, если они придут? — спрашивает Кай.

— Кто? — спрашиваю я.

— Северяне, — говорит он. — Ну, если они вернутся.

— Они уедут со мной, — говорю я.

— А если вернутся? — спрашивает Кай.

Я смотрю на него.

— Тогда ты покажешь им бумагу, — говорю я. — И позовёшь Керна.

— А если бумага не поможет? — спрашивает Кай.

— Тогда ты позовёшь малыша, — отвечаю я.

Кай кивает.

— А если малыш не поможет? — спрашивает Кай.

— Тогда, — говорю я, — ты сделаешь то, что умеешь.

— Что я умею? — спрашивает Кай.

— Ты вор, — говорю я. — Ты умеешь уходить.

Кай долго смотрит на меня.

— Хорошо, — говорит он. — Я умею уходить.

Он говорит это тихо, и я понимаю, что он говорит не про склад. Он говорит про себя. Он говорит: если станет совсем плохо, я не буду стоять насмерть, я уйду, и ты меня за это не суди.

И я не сужу. Я бы сам так хотел.

Мастер находит меня поздно вечером, когда все уже спят.

Он приносит свой ящик и ставит его на ящик. Пахнет от него смолой и пылью, и глаза у него красные, и я понимаю,

что он тоже не спал.

— Садись, — говорит он.

Я сажусь.

Он достаёт дощечку, нитку и баночку с сажей и кладёт передо мной.

— Ты едешь к мастеру, — говорит он. — Значит, тебе придётся снимать его печати.

— Я не умею, — говорю я.

— Сейчас научишься, — говорит мастер. — Немногому. Но тому, без чего ты умрёшь.

Он говорит это спокойно, и от его спокойствия мне становится не по себе.

Он открывает ящик, и оттуда пахнет смолой, пылью и чем-то кислым, как от старой кожи. Инструменты лежат в гнёздах, вырезанных по форме: клещи, молоточек, три баночки, дощечка. Всё стёртое, всё гладкое от рук.

Он берёт нитку и делает петлю.

— Смотри, — говорит он. — Печать — это натяжение. У неё всегда есть конец. Один конец тянет внутрь, другой наружу. Если потянуть за тот, что внутрь, печать стянется. Если за тот, что наружу, она разойдётся.

— А как узнать, какой? — спрашиваю я.

— Рукой, — говорит мастер. — Давай сюда.

Я протягиваю руку.

Он кладёт мне в ладонь нитку с петлёй. И я чувствую, что у него сухие, твёрдые пальцы, как у человека, который всю

жизнь держал инструмент.

— Тяни, — говорит он. — Медленно. И слушай.

Я тяну.

Петля стягивается.

— Ещё раз, — говорит мастер. — Другой конец.

Я тяну за другой конец. Петля расходится.

— Чувствуешь? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я.

— Плохо, — говорит мастер.

Он берёт мою руку и кладёт мои пальцы на нитку.

— Не тяни, — говорит он. — Держи. И слушай пальцами.

Я держу.

Сначала я не чувствую ничего, кроме нитки. Она шершавая и чуть влажная от моей руки.

Потом чувствую, что нитка тёплая.

Не как тёплая от руки. Как тёплая сама по себе, изнутри, и тепло идёт от одного её конца к другому, и в одном месте оно гуще.

— Вот здесь, — говорит мастер, и его палец ложится рядом с моим. — Чувствуешь?

— Кажется, — говорю я.

— Не «кажется», — говорит мастер. — Знай.

Я держу и слушаю.

И через некоторое время понимаю, что чувствую.

Нитка тянет. Не сильно. Как будто где-то в ней натянута струна, и она звенит очень тихо, и звенит она к тому концу,

который внутри.

— Здесь, — говорю я.

— Здесь, — говорит мастер. — Молодец.

Он забирает нитку.

— Теперь настоящее, — говорит он.

Он достаёт из ящика маленькую печать: медную пластинку с узором.

— Это учебная, — говорит он. — Её ставил мой учитель. Она пустая.

— Пустая? — спрашиваю я.

— В ней ничего нет, — отвечает мастер. — Она просто держится. Сними её.

Я беру пластинку.

Она холодная, и узор на ней идёт тонкими линиями, и линии сходятся в узел.

Я кладу пальцы на узел.

И меня бьёт.

Не сильно. Как бьёт током ручка двери в сухой день, только длиннее, и удар идёт от пальцев в локоть, и локоть немеет.

Я отдёргиваю руку.

— Не дёргай, — говорит мастер. — Дёргаться больно.

— Ты сказал, что она пустая, — говорю я.

— Она пустая, — отвечает мастер. — Но она чужая.

Он садится рядом. И я чувствую, как от него пахнет усталостью, тем кислым запахом, который бывает у людей, которые много работают руками.

— Слушай, — говорит он. — Печать не хочет, чтобы её снимали. Она кусается. Это не злоба. Это как засов: он не злой, он просто держит.

— И что делать? — спрашиваю я.

— Не дёргать, — говорит мастер. — Держать и тянуть в свою сторону. Медленно. И не бояться.

— Легко сказать, — говорю я.

— Не легко, — отвечает мастер. — Я поэтому и не мастер.

Я смотрю на него.

— Ты мастер, — говорю я.

— Я мастер печатей, — отвечает он. — Я умею их ставить. Снимать я умею только свои.

Он говорит это так, как говорят вещь, которую повторяли себе много раз, и я понимаю, что он не жалуется. Он просто говорит правду, и правда в том, что он ставил печати всю жизнь и ни разу не задумывался, как их снимают.

Он достаёт из ящика клещи.

— Вот, — говорит он. — Это тебе.

— Мне? — переспрашиваю я.

— Тебе, — говорит мастер. — Клещи снимают то, что не снимается рукой. Только не тяни ими чужую печать. Они не для этого.

— А для чего? — спрашиваю я.

— Для того, чтобы держать, — говорит он. — Когда будешь снимать, держи ими то, что кусается.

Он встаёт.

— И ещё, — говорит он. — Если Крес поставит на тебя — не дёргайся.

— А если поставят? — спрашиваю я.

— Не дёргайся, — повторяет мастер. — Стой и держи. Печать ложится на страх. Если ты не боишься, она не ляжет.

— А если боюсь? — спрашиваю я.

— Тогда ложись сам, — говорит мастер. — И жди, пока тебя отпустят.

Он уходит. И у лестницы останавливается.

— Хальд, — говорит он.

— Что? — спрашиваю я.

— Я не хотел тебя учить, — говорит мастер. — Я хотел, чтобы ты остался здесь и никогда этого не знал.

Он уходит.

Я сижу с пластинкой в руке и смотрю на узор.

Потом кладу пальцы на узел и держу.

Меня бьёт снова.

Удар идёт от пальцев в локоть, и локоть немеет, и я чувствую, как рука делается чужой. Я не дёргаю. Я держу и считаю до трёх, как учил мастер, и на третьем удара уже нет, только гудят пальцы.

Потом пробую ещё раз. И ещё.

К третьему разу рука немеет так, что я её почти не чувствую, и я кладу пластинку на колено и сижу, и смотрю, как она лежит.

Я не умею. Я знаю, что не умею. Мастер учил меня час, и

за час этому не учатся.

Но я хотя бы знаю теперь, что она кусается с задержкой: сначала ничего, а потом как будто кто-то считает до трёх и бьёт. И знаю, что если не дёргаться, то удар короче.

Это немного. Но это больше, чем было утром.

Кессель приходит перед сном.

Она в сером, и папка у неё под мышкой, и она садится на ящик напротив и кладёт папку на колени. Лицо у неё серое, как платье, и я вижу, что она тоже не спала.

Садится она тяжело, как садятся люди, у которых болят ноги, и какое-то время сидит молча и смотрит в пол.

— Мастер-сторож, — говорит она.

— Советница, — отвечаю я.

— Я слышала, вы подписали бумагу, — говорит Кессель.

— Подписал, — говорю я.

— И отдали склад, — говорит она.

— Отдал, — отвечаю я.

Кессель смотрит на меня. И молчит так долго, что я начинаю слышать, как в печи оседает уголь.

— Совет не подписывал передачу, — говорит она.

— А кто подписал? — спрашиваю я.

— Канцелярия, — говорит Кессель. — Но канцелярия не может передать городской склад без совета. Это против устава.

— Устав у них, — говорю я. — А склад у меня.

Кессель открывает папку и достаёт лист.

— Вот, — говорит она. — Это грамота. Город подтверждает, что вы мастер-сторож склада четыре и едете на север по своему делу и с ведома города.

Я беру лист.

Бумага плотная, и на ней печать совета: тяжёлая, восковая, и по краю идёт надпись. Я провожу по воску пальцем, и он холодит кожу.

Печать большая, с ладонь, и воск на ней тёмный, почти чёрный, и в нём видны пузырьки, которые лопнули, когда он остывал.

— Это что-то значит? — спрашиваю я.

— На севере да, — говорит Кессель. — Там канцелярию уважают, но совет уважают больше.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что совет ближе, — говорит она. — До канцелярии надо писать три недели. До совета дойти.

Она говорит это с усмешкой, но усмешка у неё усталая.

— Кессель, — говорю я. — А зачем вы мне это даёте?

Она поднимает на меня глаза.

— Что зачем? — спрашивает Кессель.

— Грамоту, — говорю я. — Вам-то что с этого?

Кессель долго молчит.

— Затем, что если вы вернётесь, — говорит она, — вы вернётесь с грамотой, и тогда канцелярия не сможет сказать, что склад передали по закону. А если не вернётесь, то грамота останется у вас, и её найдут, и тогда будет видно, что

город вас отпустил, а не продал.

— То есть вы ставите на меня.

— Я ставлю на город, — говорит Кессель. — А вы сейчас город.

Она закрывает папку.

— И ещё одно, — говорит она.

— Что? — спрашиваю я.

— Совет недоволен, — говорит Кессель. — Не вами. Тем, что склад передают без него.

— И что они сделают? — спрашиваю я.

— Пока ничего, — говорит она. — Совет ничего не делает быстро. Но они запомнят.

Она встаёт. И я вижу, что она устала так, что у неё дрожат руки, и что папка для неё тяжелее, чем должна быть.

— Мастер-сторож, — говорит она. — Возвращайтесь.

— Постараюсь, — говорю я.

— Не «постарайтесь», — говорит Кессель. — Возвращайтесь. Город не любит, когда у него забирают мастеров.

Она уходит.

Я кладу грамоту в сумку, к клещам мастера. Клещи холодные, и грамота шуршит, и я закрываю сумку и держу её на коленях.

Потом спускаюсь вниз.

В зале темно, и колонна светится слабо, и малыш сидит у её подножия, и Ноль лежит рядом с ним, свернувшись так, что его хвост лежит у малыша на лапе.

Я сажусь рядом.

— Завтра, — говорю я.

Малыш смотрит на меня.

— Утром.

Он не двигается. Но я вижу, что он понял.

— Я оставлю тебе Кая, — говорю я. — И Керна. И Лира останется... нет, Лира едет со мной.

Я замолкаю. И понимаю, что говорю глупости, потому что боюсь молчать.

Малыш кладёт голову мне на колени. Голова тяжёлая, и от неё идёт тепло, и я кладу ладонь ему на шею, и чувствую, как под кожей что-то медленно двигается.

— Я вернусь, — говорю я.

И на этот раз я говорю это не для того, чтобы успокоить его, и не для того, чтобы успокоить себя. Я говорю это, потому что не знаю, что ещё сказать.

Я сижу так долго. Ноль подходит и ложится мне на ноги, и я чувствую, как от него идёт жар, и как мои бёдра начинают потеть, и не двигаюсь.

— Слушай, — говорю я малышу. — Если я не вернусь...

Он поднимает голову.

— Если я не вернусь, — говорю я, — то дом на Кае. Ты понял? Не жди меня. Дом на Кае.

Малыш смотрит на меня, и в его глазах я не вижу ни страха, ни горя. Я вижу упрямство.

— Не жди меня, — повторяю я.

Он опускает голову обратно мне на колени. И я понимаю, что он не будет слушать. Что он будет ждать, потому что не умеет иначе, и что я ему это не запрещу.

Я замечаю, что ожог на его боку почти зажил. Осталась розовая кожа, а по краю идёт новая чешуя, мелкая, как у детёныша.

— Ты растёшь, — говорю я.

Он не отвечает.

— Что ты вообще такое? — спрашиваю я.

Он не отвечает.

И вдруг мне становится смешно. Я сижу в темноте, в доме, который завтра перестанет быть моим, рядом со зверем, который, наверное, старше всего города, спрашиваю его, что он такое, и жду ответа.

— Ладно, — говорю я. — Не говори.

Я поднимаюсь. Колени у меня затекли, и я стою и держусь за колонну, и колонна тёплая.

— Я вернусь, — говорю я в последний раз.

Потом иду наверх, ложусь на ящик и смотрю в потолок.

В складе тихо. Ноль сопит у печи. Малыш сидит у двери в стене и не спит.

Потолок надо мной тёмный, и балки в нём провисли, и в одной трещина идёт от края до края. Я смотрю на эту трещину и думаю, что завтра буду смотреть на другой потолок, а потом на третий, и что считать их я начну с сегодняшнего.

Утром мы уезжаем.

Я закрываю глаза.

И долго не могу уснуть, потому что думаю о том, что сказал Хорн.

Зря.

Я не читал, что подписал.

И теперь мне кажется, что там было написано не только про склад.

Что там было написано что-то ещё, чего я не увидел.

А Хорн увидел.

Книга третья. Глава 6. Прощание

Я просыпаюсь до света, и первое, что я слышу, это как Кай считает.

Он стоит у ящиков с мелом в руке и бормочет под нос: яйца, яйца, яйца, корзина, корзина, доска. Голос у него хриплый, и он уже давно не спит.

— Ты чего? — спрашиваю я.

— Считаю, — говорит Кай.

— В такую рань? — спрашиваю я.

— В такую рань никто не мешает, — говорит он. — Днём все будут ходить и сбивать.

Я сажусь на ящике. В складе холодно, и изо рта идёт пар, и у печи уже кто-то ворошит угли.

Пол под босыми ногами ледяной, и я нахожу сапоги не сразу, а когда нахожу, они тоже холодные, и я долго дышу в голенища, прежде чем надеть.

И вот тут я понимаю, что сегодня.

Не «завтра». Сегодня.

Я встаю, и колени у меня ноют, и я иду по складу, и всё вокруг какое-то чужое. Ящики стоят не так, как всегда: их выдвинули, чтобы достать то, что лежит за ними. На полу мелом написаны цифры. У стены стоит моя сумка, и она уже собрана, и я не помню, как я её собирал.

Мала у печи варит кашу. Она не оборачивается, когда я подхожу.

— Доброе утро, — говорю я.

— Доброе, — говорит она, и в голосе у неё ничего доброго нет.

— Мала, — говорю я.

— Что? — спрашивает она.

— Я хотел сказать...

— Не надо, — говорит она. — Ты уже всё сказал. Вчера.

Она снимает котелок и ставит на стол, и я вижу, что у неё красные глаза.

Она ставит его так, что капля срывается с края и шипит на горячей плите, и Мала смотрит на эту каплю, пока она не высыхает.

— Ты знаешь, сколько человек останется? — спрашивает она.

— Знаю.

— Нет, не знаешь, — говорит Мала. — Ты знаешь, сколько уйдёт. А сколько останется, ты не считал.

И она оказывается права. Я считал, кто идёт: я, Ноль,

Гром, Лира, северяне. Я не считал, кто остаётся.

— Останется много, — говорю я.

— Много, — соглашается Мала. — Только из них половина не умеет ни читать, ни писать, а вторая половина не хочет.

Она наливает мне каши.

— Ешь, — говорит она. — В дороге тебя кто-нибудь покормит, но не так.

Каша горячая, и я ем, и обжигаю язык, и не говорю об этом.

Керн приходит, когда я ещё не доел. Он уже в тулупе и с топором за поясом, и на нём лица нет.

Он встаёт у стола и не садится, и я вижу, что он не знает, куда девать руки: то возьмётся за топор, то отпустит.

— Готов? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Керн. — Значит, ты ещё соображаешь.

Он садится напротив.

— Я расставил людей, — говорит он. — Четверо у двери, двое на лестнице, двое внизу у колонны. Если что, они продержатся, пока мы не подойдём.

— Кто эти люди? — спрашиваю я.

— Мои, — говорит Керн. — Из тех, кто остался. Ты их не знаешь.

— Я всех здесь знаю, — говорю я.

— Ты всех здесь знаешь по именам, — говорит Керн. — А

по тому, кто чего стоит, ты знаешь человек двадцать. Остальных знает Мала.

Я отставляю чашку.

— Керн, — говорю я. — Если что-то случится, ты не геройствуй.

— Я не геройствую, — говорит он. — Я считаю.

— Что считаешь? — спрашиваю я.

— Сколько я продержусь, — говорит Керн. — Две недели. Может, три. Потом люди начнут спрашивать, зачем мы это делаем.

— И что ты скажешь? — спрашиваю я.

— Скажу правду, — говорит он. — Что мы держим склад, потому что ты вернёшься.

Он встаёт и уходит, и я остаюсь с кашей, которая уже остыла.

Хорн приходит с папкой и с описью.

— Мастер-сторож, — говорит Хорн. — Надо сверить.

— Что сверить? — спрашиваю я.

— Всё, — говорит Хорн. — Если вы вернётесь, а чего-то не будет, я должен знать, чего именно не было.

Мы идём по складу, и он читает, а я смотрю.

— Яйца, триста четырнадцать, — говорит он. — Корзины, сорок одна. Доска, восемьдесят локтей. Соль, шесть мешков. Рыба вяленая, двадцать две связки. Сеть, три.

— Сеть три, — говорю я. — А было четыре.

— Четвёртую забрали северяне, — говорит Хорн и делает

пометку. — Она была не наша. Она была их.

— Ты в описи написал, что она ваша, — говорю я.

— Я написал, что она у нас, — говорит Хорн. — Это не одно и то же.

Он останавливается у стены, где висит старый крюк, и смотрит на него.

— Мастер-сторож, — говорит он тихо. — Я хочу вам сказать одну вещь.

— Скажите, — говорю я.

— Когда я пришёл сюда, склад был пустой, — говорит Хорн. — Не пустой, как мебель. Пустой, как дом, в котором никто не живёт. Здесь было двадцать восемь человек, и половина из них не знала, что будет есть зимой.

— Я помню.

— А теперь триста четырнадцать яиц, — говорит он. — И я знаю, что будет зимой.

Он закрывает папку.

— Поэтому я и записал, что вас забрали, — говорит он. — Если вы не вернётесь, я не хочу, чтобы кто-то говорил, что вы сбежали.

— Хорн, — говорю я.

— Что? — спрашивает он.

— Спасибо, — говорю я.

— Я уже говорил, — отвечает Хорн. — Это смета.

И уходит, и мне кажется, что он уходит быстрее, чем нужно.

Лош приходит ко мне с мелом и с доской, на которой всё записано.

Доска у него застирана до белизны, и мел он держит так, что пальцы белые, и я вижу, что он уже несколько раз начинал и стирал.

— Мастер-сторож, — говорит он. — А если северяне вернутся без тебя?

— Они вернутся со мной, — говорю я.

— А если без тебя?

Я смотрю на него. Ему тринадцать, и он держит доску так, как держат щит.

— Тогда ты покажешь им бумагу, — говорю я.

— Какую? — спрашивает Лош.

— Ту, что в папке у Хорна, — говорю я. — И позовёшь Керна.

— А если Керна не будет? — спрашивает Лош.

— Лош, — говорю я. — Хватит.

— Я не хватит, — говорит он. — Я должен знать.

И он прав. Он прав, а я стою и думаю о том, что все эти дни я учил его считать яйца, и ни разу не подумал, что придёт день, когда ему придётся считать людей.

— Хорошо, — говорю я. — Тогда так. Если Керна не будет, ты идёшь к малышу. Ты знаешь, где он сидит.

— Внизу, — говорит Лош.

— Внизу, — повторяю я. — И говоришь ему: «Хальд велел». Только это и говоришь. Понял?

Лош кивает.

— И не врёшь ему, — говорю я. — Он врать не любит.

— Хорошо, — говорит Лош.

— И не боишься.

— Я буду бояться, — говорит Лош.

— Это можно, — говорю я. — Бойся и говори.

Он уходит к ящикам, и я слышу, как он начинает считать снова: яйца, яйца, яйца.

Грив приходит последним, и он приходит не прощаться.

— Ты взял клещи? — спрашивает он.

— Взял, — говорю я.

— Покажи, — говорит Грив.

Я достаю клещи из сумки. Грив берёт их, вертит в руках, проверяет, как ходит рычаг.

— Туговато, — говорит он. — Смажь.

— Нечем, — отвечаю я.

— Найдёшь, — говорит он. — Зверь в дороге сало даст.

Он отдаёт мне клещи.

— И вот ещё что, — говорит он. — Я тебе не сказал вчера, потому что ты бы не уснул.

— Говори сейчас, — говорю я.

— Крес ставит на кровь, — говорит Грив. — Я видел его нитку. Она у него тёмная, и она не тянется, а режет. Такую не снять, если не знать, где у неё середина.

— Как её найти? — спрашиваю я.

— По звуку, — говорит Грив. — Когда тянешь, она зве-

нит. Середина звенит выше.

— А если я не услышу? — спрашиваю я.

— Услышишь, — говорит он. — Ты уже слышал. Вчера, с пластинкой.

Он смотрит на меня.

— Ты пойми, — говорит Грив. — Я тебя учил не для того, чтобы ты там что-то снимал. Я тебя учил, чтобы ты понимал, когда тебя снимают.

— Разве это можно понять? — спрашиваю я.

— Нет, — говорит он. — Но можно почувствовать.

Он уходит, и я остаюсь один с клещами в руке.

И тогда я понимаю, что всё уже сделано. Ящики увязаны, сумки собраны, люди стоят, и все смотрят на меня.

Осталось только то, чего я боялся больше всего.

Я иду вниз.

Лестница в подвал узкая, и я иду по ней, и на каждой ступеньке становится теплее. К последней ступеньке уже не холодно совсем.

В зале пахнет камнем и чем-то ещё, тёплым, как от выключенной печи. Колонна светится, и свет по ней идёт вниз, и в этом свете видно пыль.

Малыш сидит у подножия, и лапа у него на печати.

— Малыш, — говорю я.

Он поднимает голову.

— Пора.

Он смотрит на меня.

— Я вернусь, — говорю я. — Ты это уже слышал, знаю. Я сегодня утром ухожу.

Он не двигается.

Я подхожу ближе. И тут замечаю, что в трубах стоит тишина. Не та тишина, которая бывает днём, когда всё работает. Другая, глухая, как будто труба изнутри забили тряпкой.

— Малыш, — говорю я. — Ты что сделал?

Он смотрит на меня.

— Ты запер дверь, — говорю я.

Он не отвечает.

И я, конечно, не знаю, как это устроено у него в голове. Может, он закрыл дверь, потому что боится, что я уйду и не вернусь. Может, он сделал это, потому что так проще: если никто не войдёт, то никто и не выйдет.

Я поворачиваюсь и иду наверх. У двери уже стоит Керн и тянет засов.

— Не идёт, — говорит он.

— Знаю, — отвечаю я.

— Хальд, — говорит Керн. — Его надо снять.

— Я знаю, — говорю я.

— Ты понимаешь, что там уже ждут? — говорит он. — Северяне стоят на пристани. Если мы не выйдем, они решат, что мы передумали.

— Дай мне время, — говорю я.

Я спускаюсь обратно.

И теперь я делаю то, чего не делал ни разу. Я не разгова-

риваю с малышом. Я сажусь рядом и молчу.

Мы сидим. Свет идёт по колонне вниз, и в зале медленно теплеет, и я слышу, как у него дышит бок.

— Малыш, — говорю я наконец. — Слушай меня.

Он смотрит.

— Ты закрыл дверь, чтобы я не ушёл, — говорю я. — Я понимаю. Я бы тоже закрыл.

Он не двигается.

— Но я всё равно уйду, — говорю я. — Понимаешь? Если ты не откроешь, я всё равно уйду. Только тогда я уйду через окно, и меня никто не проводит, и обо мне никто не подумает, и Гром с Лирой пойдут без меня, и я останусь здесь, а они уйдут.

Я говорю это и понимаю, что вру наполовину. Я не знаю, смогу ли я выйти через окно. Но я знаю, что если я останусь, то северяне придут сюда, и тогда будет то, чего я и боялся.

Малыш опускает голову.

И тогда появляется Ноль.

Он спускается по лестнице, стуча когтями по камню, и останавливается, между нами. И я вижу, что он вырос. Что он уже не тот ящер, который помещался в ладонь; что спина у него выше моего колена, и чешуя по хребту тёмная, с золотым отливом.

Он смотрит на малыша.

И потом издаёт звук.

Я слышал, как он выдыхает жар. Слышал, как он трещит

чешуёй. Но такого я не слышал ни разу.

Звук идёт низко, откуда-то из груди, ниже, чем должно быть у зверя такого роста. Он не громкий. Он такой тихий, что я скорее чувствую его грудью, чем слышу ушами: как будто кто-то тянет струну в камне.

Малыш поднимает голову.

И отвечает.

Его звук другой: он тоже низкий, но мягче, и в нём слышно что-то, от чего у меня сжимается горло, потому что это не речь и не просьба. Это то, как мать говорит ребёнку «иди».

Они говорят так долго, что у меня начинают стынуть ноги.

Потом Ноль замолкает и трётся головой о плечо малыша, и малыш отстраняется, и поднимается, и идёт к лестнице, и я иду за ним.

Наверху он подходит к двери и стоит перед ней, и я вижу, как он смотрит на дерево, и как на дереве снова появляется тонкая серая тень, идёт от ручки вниз и гаснет.

Керн тянет засов.

Он идёт.

И в складе делается очень тихо.

Малыш стоит у двери и смотрит на меня. И я вижу, что он не сердится. Он просто смотрит.

Он стоит так близко к двери, что его тень ложится на порог, и я вижу, как эта тень дрожит, хотя он сам не двигается.

Я сажусь перед ним на корточки и беру его голову в руки. Голова тяжёлая, тёплая, и я держу её, и не знаю, что сказать,

потому что всё, что я могу сказать, я уже сказал, и всё это слова.

— Ну, — говорю я. — Я пошёл.

Он не двигается.

Я встаю.

И тогда он делает то, чего не делал никогда: он подходит ко мне и кладёт голову мне на грудь, и стоит так, и я чувствую его дыхание через куртку.

Я держу его за шею и молчу. Люди в складе молчат тоже. Я знаю, что они смотрят, и мне всё равно.

Потом он отходит.

И садится у двери в стене, и смотрит, как я беру сумку.

Ключ у меня на поясе, на кольце, вместе с двумя другими. Я снимаю его и держу в руке. Он тяжёлый, железный, и на нём уже стёрлась краска там, где я его трогал.

Кай стоит рядом и смотрит на ключ.

— На, — говорю я.

Он не берёт.

— Бери, — говорю я.

— А как же бумага? — спрашивает Кай. — Там написано, что ты отдашь ключ на севере.

— Там написано, что я отдам ключ от склада, — говорю я. — А ключ от склада остаётся в складе.

Кай смотрит на меня.

— Тебя за это повесят, — говорит он.

— Меня и так хотели повесить, — говорю я. — Зато дом

останется домом.

Он берёт ключ. Держит его в кулаке, и я вижу, что он не знает, что с ним делать.

— Он холодный, — говорит Кай.

— Он всегда холодный, — говорю я. — Повесь на шею, чтобы не потерять.

Кай вешает ключ на шнурок, и ключ ложится ему на грудь, и он прикрывает его рукой.

Мала стоит у печи и держит узел с едой.

— Тут на два дня, — говорит она. — Хлеб, рыба, лук. Лук ешьте, от него теплее.

— Спасибо, — говорю я.

— И вот, — говорит Мала и достаёт из-за пазухи маленький мешочек. — Это соль. Её в дороге нет, а без соли вся еда как трава.

Я беру мешочек и чувствую, как он тяжёлый, и понимаю, что она отсыпала его из общего.

— Мала...

— Не начинай, — говорит она. — Я тебе не мать. Я просто знаю, что бывает, когда идут без соли.

Она отворачивается и уходит к печи, и я слышу, как она начинает греметь котелком громче, чем нужно.

Тирк подходит и стоит, прижимая яйцо к груди.

— Мастер-сторож, — говорит он.

— Что, Тирк?

— Я остаюсь, — говорит он.

— Хорошо, — говорю я.

— Я думал, — говорит Тирк. — Вчера думал. Если все уйдут, то кто будет смотреть за домом.

— Ты, — говорю я.

— Я, — говорит Тирк важно. — Я буду смотреть.

И он уходит, довольный, и я думаю: надо было ему давно дать какое-нибудь дело, чтобы он перестал бояться.

Керн стоит у двери с топором за поясом и не двигается с места.

— Ты не пойдёшь меня провожать? — спрашиваю я.

— Нет, — говорит Керн.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что моё место здесь, — говорит он. — Я тебя провожу до порога. Порог — это граница. За порогом ты сам.

Он смотрит на меня.

— И ещё, — говорит он. — Если ты не вернёшься...

— Я вернусь, — говорю я.

— Не перебивай, — говорит Керн. — Если ты не вернёшься, я не буду держать дом вечно. Я продержусь зиму. А весной отдам его совету.

— Хорошо, — говорю я.

— Ты понял, что я сказал?

— Понял, — говорю я. — Ты не предатель. Ты просто честный.

— Да, — говорит Керн. — Я честный. Это хуже.

Я беру сумку и иду к двери.

И у двери я оборачиваюсь.

Склад большой, и в нём темно, и свет от печи лежит на полу, и в этом свете стоят люди. Мала у котла. Тирк с яйцом. Лош с доской. Хорн с папкой. Кай с ключом на груди. Керн с топором. Малыш у двери в стене.

И Ноль, который уже стоит у выхода и ждёт меня, и от нетерпения переступает с лапы на лапу.

— Ну, — говорю я. — Я пошёл.

И никто не отвечает.

Я выхожу на пристань, и дверь за мной закрывается, и я слышу, как засов идёт и встаёт на место.

Утро серое, и над рекой туман, и доски пристани скользкие от изморози. Северян уже видно: пять лодок, и у лодок люди, и Крес стоит на средней, и он не смотрит на меня, а смотрит на реку.

Гром и Лира уже здесь, и с ними мешки, и Лира в двух платках.

— Ты долго, — говорит Гром.

— Я прощался, — отвечаю я.

— Понятно, — говорит Гром и не спрашивает больше ничего.

Ноль подходит к краю пристани и садится, и лодочники шарахаются, и один роняет весло в воду.

— Он не тронет, — говорю я.

— Он большой, — говорит лодочник.

— Он всегда был большой, — говорю я и понимаю, что

вру: он не всегда был большой.

Крес поворачивает голову.

— Мастер-сторож, — говорит он.

— Крес, — отвечаю я.

— Садитесь, — говорит он. — Ветер поднимается.

Я оборачиваюсь и смотрю на склад.

Он стоит, как стоял: серый, длинный, с двумя окнами и дверью. Над крышей идёт дым. В окне второго этажа кто-то шевельнулся и отдёрнул занавеску.

И это всё. Больше ничего не происходит. Дом стоит, люди внутри, дым идёт, и я стою на пристани и смотрю на него, и мне вдруг становится так страшно, как не было ни в одну из этих ночей.

Потому что дом остаётся, а я ухожу. И никто не знает, чей он будет, когда я вернусь.

— Хальд, — говорит Гром.

— Иду, — отвечаю я.

Я иду к лодке.

Лодка у Креса широкая, с высокими бортами, и в ней уже лежат мешки, свёрнутые сети и что-то тяжёлое под брезентом. Ноль смотрит на неё и не идёт.

— Он не пойдёт, — говорит один из северян.

— Пойдёт, — говорю я.

Я подхожу к борту и хлопаю по доске.

— Ноль.

Он смотрит на воду, потом на меня, потом опять на воду.

— Ноль, — говорю я. — Смотри. — Я перешагиваю через борт и встаю в лодке. — Видишь? Я здесь.

Он стоит ещё немного. А потом делает шаг, и лодка проседает так, что я хватаюсь за борт, и Ноль заваливается на бок и ложится на дно, и дно уходит вниз, и вода за бортом поднимается на ладонь.

— Тяжело, — говорит северянин.

— Тяжело, — соглашается Крес. — Отвязывай.

От борта отталкиваются, и весла входят в воду, и склад начинает отходить.

Вода под лодкой чёрная и густая, и в ней видно, как крутится что-то светлое, и это оказывается щепка, и я почему-то смотрю на неё, пока она не уходит под киль. Медленно, как отходят все дома: сначала видно дверь, потом окно, потом крышу, потом только дым.

Я не оборачиваюсь. Я смотрю вперёд, на воду, и считаю удары весел, потому что если я буду считать, то не буду думать.

Один. Два. Три.

— Мастер-сторож, — говорит Крес.

— Что? — спрашиваю я.

— Вы не смотрите на дом, — говорит он. — Это правильно.

— Почему правильно? — спрашиваю я.

— Потому что тот, кто смотрит назад, — говорит Крес, — потом всю дорогу думает, что мог остаться.

Он сидит на корме и держит руль, и я вижу, что он делает это уверенно, как человек, который ходит по этой реке всю жизнь.

— Крес, — говорю я. — А сколько нам идти?

— До устья два дня, — говорит он. — Потом тракт. По тракту до нашей заставы восемь дней. От заставы до гнезда ещё пять.

— Пятнадцать дней.

— Если погода, — говорит Крес. — Если будет снег, то двадцать.

Я считаю в уме. Двадцать дней туда, двадцать обратно, и это если всё хорошо, и это ещё без того, что мы там будем делать.

— Крес, — говорю я. — А если мы не успеем до льда?

Крес долго молчит.

— Тогда мы пойдём по льду, — говорит он. — И тогда будет ещё медленнее.

Борн сидит на носу и не смотрит на нас. Ланн сидит у среднего весла и гребёт ровно, и я замечаю, что он гребёт правильно.

— Ланн, — говорю я.

— Мастер-сторож, — отвечает он.

— Вы говорили, что вы не возчик, — говорю я.

— Говорил, — соглашается Ланн.

— А грести умеете, — говорю я.

— Все умеют, — говорит Ланн. — Кто не умеет, тот не

доезжает.

Он гребёт дальше, и на его ладонях я не вижу мозолей, которые должны быть у человека, который гребёт каждый день. Значит, он научился давно и с тех пор не практиковался.

Гром сидит рядом со мной и точит камень. Лира сидит, прижав к себе сумку, и смотрит на воду.

— Лира, — говорю я.

— Что? — спрашивает она.

— Ты как? — спрашиваю я.

— Я в лодке, — говорит она. — Я в лодке, у меня сухие ноги, и я не думаю о том, что мы плывём туда, где, по словам этого человека, что-то проснётся.

— Хорошо, — говорю я.

— Это не хорошо, — отвечает Лира. — Это я так справляюсь.

Северяне молчат.

За всё утро я не слышу от них ни одного лишнего слова. Они не переговариваются, не шутят, не спрашивают, кто я такой. Они делают свою работу: гребут, правят, смотрят на воду. И от этого молчания мне становится не по себе сильнее, чем от их взглядов.

— Они всегда такие? — спрашиваю я у Креса.

— Какие? — спрашивает он.

— Молчаливые, — говорю я.

— Они не молчаливые, — говорит Крес. — Они на работе.

— А после работы? — спрашиваю я.

— После работы они спят, — говорит Крес. — А потом снова работа.

Он смотрит на реку.

— Вы не понимаете, — говорит он. — У нас внизу всё кончается. Если мы не работаем, то не будет тепла. Если не будет тепла, то не будет ничего. Поэтому у нас не разговаривают.

— Совсем? — спрашиваю я.

— Разговаривают, — отвечает Крес. — Когда есть о чём.

Я смотрю на северян. Один из них, молодой, с обмороженным ухом, ловит мой взгляд и тут же отворачивается.

— А вы? — спрашиваю я.

— Что я? — спрашивает Крес.

— Вы разговариваете, — говорю я.

— Я мастер, — говорит Крес. — Мне можно.

Он говорит это без усмешки, и я не понимаю, шутит он или нет.

Ноль лежит на дне и спит. Он спит так, как спят звери, у которых нет причин бояться: развалился, вытянул лапы, и от него идёт такое тепло, что в лодке становится теплее, чем на берегу.

— Он греет, — говорит Лира.

— Греет, — соглашаюсь я.

— Тогда я его люблю, — говорит Лира и придвигается ближе.

Пристань уже не видна. Берег идёт мимо: сначала амбары, потом огороды, потом пустой берег с ивняком, потом ничего.

И тогда я всё-таки оборачиваюсь.

Склада нет. Есть дым над деревьями, тонкий, серый, и он стоит в воздухе, как будто его нарисовали.

Я смотрю на него, пока он не исчезает.

А потом говорю себе: всё.

И сажусь ровнее.

Крес подаёт мне флягу.

— Пейте, — говорит он. — Вода речная, но чистая.

Я пью. Вода холодная, от неё ломит зубы.

— Крес, — говорю я.

— Что? — спрашивает он.

— Спасибо, что не забрали Ноля силой.

Крес смотрит на меня долго.

— Я бы забрал, — говорит он. — Если бы вы не согласились, я бы забрал.

— Я знаю, — говорю я.

— Тогда зачем благодарить?

— Затем, — говорю я, — что вы дали мне выбрать. Это не так мало.

Крес молчит.

— Мастер-сторож, — говорит он наконец. — Я дал вам выбрать, потому что мне нужен был человек, а не пленник. Это не доброта. Это расчёт.

— Пусть расчёт, — говорю я. — Всё равно спасибо.

Он отворачивается и смотрит на реку, и я вижу, что он не знает, что на это сказать.

К вечеру, когда до устья остаётся ещё день, за нами что-то идёт.

Первым замечает Ноль. Он лежит на дне, развалившись, и вдруг садится так резко, что лодка качается, и я хватаюсь за борт.

— Тихо ты, — говорю я.

Он не слушает. Он смотрит на воду за кормой, и гребень у него поднимается.

— Крес, — говорю я.

— Вижу, — говорит Крес.

Он уже стоит, и в руке у него багор, и я замечаю, что остальные северяне тоже встали, все разом, без команды.

— Что там? — спрашиваю я.

— Не знаю, — говорит Крес. — Но оно большое.

Вода за кормой идёт бугром. Не волной, а бугром, как будто под ней что-то плывёт у самой поверхности и не хочет показываться.

— Сколько до берега? — спрашиваю я.

— Двести шагов, — говорит Борн. — Не успеем.

И тут бугор догоняет нас.

Удар идёт снизу. Лодка подпрыгивает, и я лечу вперёд и хватаюсь за скамью, и слышу, как Ланн ругается сквозь зубы, и как Ноль издаёт свой низкий звук.

А потом он делает то, чего я не видел с академии.

Он выдыхает.

Струя идёт туда, куда он смотрит: в воду за кормой. И вода не закипает, как в котле, а вспухает, как будто в неё вылили масло, и вверх идёт пар, белый, густой, и в этом паре я вижу, как что-то длинное уходит вглубь.

Рыба. Не рыба. Что-то с чешуёй в ладонь, с хвостом, который бьёт по воде так, что лодку разворачивает.

— Держи! — кричит Борн.

Тилль, молодой, с обмороженным ухом, стоит у борта с острогой. Он замахивается. И в этот момент хвост бьёт второй раз, и Тилль летит за борт.

Вода смыкается.

— Тилль! — кричит Борн.

Крик у него выходит короткий и хриплый, и я вижу, как он рвётся к борту, и как двое держат его за плечи, потому что лодку качает.

Я вижу его руку над водой. Вижу, как его тащит. И я не думаю, а просто перешагиваю борт и прыгаю.

Вода ледяная так, что у меня останавливается дыхание.

Я успеваю подумать одно: что река глубже, чем казалась, и что под водой темно, и что я не вижу ни своей руки, ни его. Я нахожу его на ощупь: рука, плечо, воротник. И тяну.

А рядом в воде идёт что-то большое и тёплое, и от этого тепла у меня в горле поднимается тошнота, потому что оно живое, и оно больше меня.

— Гром! — кричу я.

И Гром бьёт багром.

Он не бьёт в тварь. Он бьёт в воду перед её мордой, и от удара идёт фонтан, и тварь уходит в сторону, и я успеваю подтащить Тилля к борту.

Нас вытаскивают: меня за шиворот, его за руки.

Я лежу на дне лодки, и меня трясёт, и я вижу, как Ноль стоит на носу, и как у него трескается чешуя на боку, и как из пасти идёт кровь.

— Хватит, — говорю я. — Хватит.

Он не слышит. Он смотрит на воду, и гребень у него стоит, и он готов ещё.

— Ноль! — говорю я громче. — Ко мне.

Он оборачивается. И медленно, тяжело идёт ко мне, и ложится рядом, и от него идёт такой жар, что пар идёт от моей мокрой куртки.

Тилль лежит на дне и кашляет.

— Живой? — спрашивает Борн.

— Живой, — говорит Тилль и кашляет снова.

Лира уже рядом и уже держит его за голову.

— Дыши, — говорит она.

— Я дышу, — хрипит Тилль.

— Тогда не дыши так, — говорит Лира. — Ты воду глотаешь.

Тилль смотрит на неё и, кажется, впервые в жизни не понимает, что происходит.

— Двести шагов, — говорю я. — Это сколько в локтях?

— Тебе сейчас не до локтей, — говорит Гром.

— Мне всегда до локтей, — говорю я.

Тилль кашляет.

Потом он поворачивает голову, видит рядом с собой морду Ноля и замирает.

— Он тебя спас, — говорю я.

— Он меня напугал, — хрипит Тилль.

— Он и меня напугал, — говорю я. — Но спас он.

Тилль смотрит на Ноля. Ноль смотрит на Тилля. Потом Ноль зевает, и из пасти у него идёт пар и кровь, и он вылизывает кровь языком, и Тилль делает такое лицо, что Лира начинает смеяться.

И я смеюсь тоже, хотя меня трясёт, и хотя у меня не гнутся пальцы.

Крес стоит на корме с багром и смотрит на воду.

— Мастер-сторож, — говорит он.

— Что?

— Вы прыгнули в воду, — говорит он.

— Ну, — говорю я.

— За моего человека.

— А что, надо было не прыгать? — спрашиваю я.

Крес долго молчит.

— Надо было, — говорит он наконец. — Просто я не думал, что вы прыгнете.

Он отворачивается, и я слышу, как он говорит Борну, тихо, чтобы я не слышал:

— Пиши в отчёте, что зверь работал.

— А про мастера? — спрашивает Борн.

— Про мастера вообще не пиши, — говорит Крес. — Про мастера я сам напишу.

К вечеру мы выходим к устью.

Река здесь делается шире, и вода меняет цвет: из зелёной становится серой, и пахнет от неё уже не тиной, а снегом. На берегу стоят два дома и сарай, и над сараем нет дыма.

— Здесь заночуем, — говорит Крес.

— А людей нет, — говорю я.

— Люди ушли на тракт, — говорит Крес. — Здесь зимой никто не живёт.

Мы вытаскиваем лодки на берег и переворачиваем их, чтобы не залило. Северяне делают это молча и быстро, и я вижу, как они работают: никто не командует, никто не спорит, каждый знает своё место.

Костёр разводят в сарае, в старом очаге из камней. Гром приносит дров, Лира достаёт хлеб и лук, и Мала оказывается права: лук и правда греет.

Ноль ложится у входа и загораживает половину проёма. Северянин с обмороженным ухом сначала косится на него, а потом садится рядом, потому что от Ноля идёт тепло, а от костра мало.

— Не боишься? — спрашиваю я.

— Боюсь, — говорит он. — Но холоднее.

Крес садится напротив меня и ест молча.

— Крес, — говорю я.

— Что? — спрашивает он.

— Расскажите про гнездо.

Он жуёт, проглатывает, вытирает рот.

— Что рассказать? — спрашивает Крес.

— Всё, — говорю я. — Как оно выглядит. Кто там живёт.

Крес думает.

— Оно круглое, — говорит он. — Как колодец, только вверх дном. Внизу печать, вокруг печати дома, вокруг домов стена. В стене ворота, в воротах я.

Я пытаюсь это представить и не могу: у меня перед глазами только наш склад, длинный и низкий, с ящиками и печью.

— А сверху что? — спрашиваю я.

— Сверху небо, — говорит Крес. — И холод. У нас не как у вас: внизу тепло, а чем выше, тем холоднее, и наверху уже нельзя жить.

— А сколько людей? — спрашиваю я.

— Двести сорок.

— И все на печати? — спрашиваю я.

— Все, — говорит Крес. — Кто-то ближе, кто-то дальше. Кто ближе, тот получает больше тепла. Кто дальше, тот получает меньше.

— И кто решает, кто ближе? — спрашиваю я.

Крес смотрит на огонь.

— Я, — говорит он. — И ещё трое. Мы называемся совет печати.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.